

НАЧАЛО ВЕКА

Литературный и краеведческий журнал

4



2021

НАЧАЛО ВЕКА 2021/4

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
И КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ
Выходит с января 2007 года

ИЗДАНИЕ ТОМСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

Главные редакторы:

Геннадий СКАРЛЫГИН
Оксана ЧАЙКОВСКАЯ

Редколлегия:

Геннадий АНКУДИНОВ
Дмитрий БАРЧУК
Александр КАЗАРКИН
Владимир КРЮКОВ
Елена КИРИЛЛОВА
Елена КЛИМЕНКО
Галина КЛИМОВСКАЯ
Вениамин КОЛЫХАЛОВ
Николай СЕРЕБРЕННИКОВ

Адрес редакции:

634050, г. Томск, ул. Шишкова, д. 10.
Тел. 528-369.
E-mail: ya.oxana69@yandex.ru

Электронная версия журнала:

<http://elib.tomsk.ru/page/25940/>

При перепечатке материалов
ссылка на журнал «Начало века»
обязательна.

Мнения авторов не обязательно
совпадают с мнением редакции.

На обложке:

Гуркин (Чорос) **Григорий Иванович**
(1870–1937). Хан-Алтай. 1907. Холст,
масло. 160x205. Поступил в 1982
из ТОКМ, ранее в коллекции А. А.
Кухтеринной (Томск). Собственность
ТОХМ. ТОХМ Ж-424

Журнал выходит при поддержке
Администрации Томской области

В НОМЕРЕ:

КРАЕВЕДЕНИЕ

Александр КАЗАРКИН
Возвращение домой? 2

ПРОЗА

Владимир КРУПИН
Громкая читка 8

ПОЭЗИЯ

Николай ИГНАТЕНКО 61
Юрий ЧУФАРОВ 70

ПРОЗА

Татьяна ЮРГЕНСОН
Смородина, она какая? 74

ПОЭЗИЯ

Елена КИРИЛЛОВА 79
Владимир ВАСИЛИНЕНКО 84

ЗАМЕТКИ О НАШЕМ ВРЕМЕНИ

Владимир КРЮКОВ
Федя Госпорьян 90

НА НАШЕЙ ОБЛОЖКЕ

Григорий ГУРКИН 98
ПРОЗА

Александр ТАРАЗАНОВ
Костик 101
Анна КОРСУНОВА
Мышьяк 106
Монетка 107

ПАМЯТЬ

Владимир ПОНОМАРЁВ 110

БЫЛОЕ

Николай СЕРЕБРЕННИКОВ
Очерки воспоминаний 119
Виктор ЮШКОВСКИЙ
Звонкого мира вестник 127
Нина ТЕМНИКОВА
Я прилечу к вам птичкой... 135

ЛИТЕРАТУРНАЯ УЧЁБА

Дети – призёры конкурсов 145

ЧТО СМЕШНОГО?

Николай БРЕННИКОВ
Про что 155

АВТОРЫ НОМЕРА 158

Александр КАЗАРКИН

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ?

*Вы скажете: станем к варягам спиной,
Лицом повернёмся к обдорам?*

А. К. Толстой

*Сибирь скоро станет наисвободнейшей
страной мира, куда стекутся избранные
люди всех стран земного шара.*

Г. Д. Гребенщиков

Вдохновляющая новость: в Томске подготовлен 14-томник «Литература народов Сибири». Если среди аборигенов обнаружались писатели с мировой известностью, надо осмыслить сюрприз: народы, считавшиеся *внеисторическими*, пробуждаются на излёте своей истории! Аборигенная мысль ждала-ждала и вот дождалась. Чего, эпохи постмодерна? Ощущения тупиковости машинной цивилизации?

Да, зазвучали риторические обороты насчёт *оживления и возрождения*. Этнология, однако, примеров возвращения в пройденную историческую фазу не знает. Тут надо найти точные ключевые слова. Коренной *сибирский текст* явлен в фазе надлома! Однако коренную традицию запоздалыми вздохами интеллектуалов не восстановишь. Она должна жить в быту народа. Так или иначе, оживление архаических мотивов – это вызов современности. И этот спор с эпохой бьёт в глаза.

Итак, литературная классика коренных сибиряков. Новая тема или старая? Самое узкое понимание термина «сибирский текст» – творчество аборигенов. Его-то и хочется назвать собственно сибирской литературой. Если под оригинальностью понимать не тематику или экзотику, а картину мира, то придётся согласиться: сибирской литературы, как её понимали областники, до недавнего времени не было. Как и в областнической критике XIX века, прорывается призыв создать заново сибирского писателя и сибирскую словесность.

Возрождение предсказал полтора века назад Г. Н. Потанин, наш «сибирский дедушка»: «У иных, более крупных, инородческих племён, может быть, явятся свои поэты, у других, мелких, письменность остановится на услугах материальным потребностям; но пусть прошибают эти ростки мороз и иней истории, а не мы со своей политикой». Столичные мальтузианцы твердили: железный закон истории против них, и вам его не изменить. Это «арийское высокомерие» оправдывало безразличие к запаснику аборигенных преданий. Но восстановление исторической правды – задача более простая в сравнении с возрождением национального образа мира. Воскрешение национального духа... Но ведь нет уже той природной среды. И главное – насколько народ вышел из умственной спячки?

Мотив возвращения блудного сына различим в наиболее интересных произведениях аборигенов: «Когда киты уходят» чукчи Юрия Рытхэу, «Ложный гон» нивха Владимира Санги, «Амур широкий» нанайца Григория Ходжера, «Синий ветер каслания» манси Ювана Шесталова, «Ханты, или Звезда Утренней Зари» Еремея Айпина. В образах мифов открылась безусловная правда, мудрость шаманов поставлена выше книжной. Все приметы кочевого или охотничьего быта предстали в ореоле элегии.

Областники разделили понятия: литература в Сибири и собственно сибирская литература – взгляд на историю не с Запада, а из северной Азии. Тут видно глухое неприятие теории линейного прогресса. Лев Гумилёв истолковал это по-своему: «По приказу этноса, явления природы, не создашь»; «Все теории культурного прогресса не могли бы существовать, если бы не игнорировали феноменов вырождения, ослабления и вымирания целых народов и распада их цивилизаций». Но в жизни любого народа, отлучённого от истоков, рано или поздно начинается «почвенническое» движение. Г. Н. Потанин предостерегал: оригинальная сибирская литература не сложится, если не будет востребовано наследие «инородцев». Что и подтвердилось.

Заметим, сибирские аборигены всерьёз не были враждебны большевизму, но расходятся с ним в ощущении жизни. Некоторые, впрочем, недоумевают: почему русские дважды в двадцатом веке проявили безразличие к своей судьбе? Слетели с катушек, стали выкорчёвывать свою культуру, а теперь учат, как строить Сибирь. И что здесь происходит? То же, что везде и всюду. А Сибирь, она же ни с чем не сравнима. У русских два мифа о Сибири: земля с несметными богатствами и – гибельный край. С недавних пор в широкий оборот вошло слово «фронтир», напрокат взятое из-за океана: отодвигаемая дикость. Там пришельцы *отодвинули* дикость в небытие (уничтожили аборигенов) и самих себя назвали американцами.

Национальный образ мира – серьёзнейшая проблема. Он, образ, складывается в молодости народа, а на мемориальной стадии возможна лишь игра с ним, более или менее осознанная. Это бесконечная дискуссия: потомки и узнают, и не признают своё своим. Киргизские критики называли прозу Ч. Айтматова калькой с русской, героев его – не киргизами, а метисами. Зато их приняли на Западе. То же было и с творчеством Ю. Рытхэу, Ю. Шесталова, Д. Каинчина: не принимают дома, хвалят «за бугром». Русскоязычная проза советской Сибири – вполне очевидный псевдоморфоз. А что сказать о новой, постсоветской?

Восстановление коренных культур – дело чистое и благородное с любой точки зрения. Но это же последний вздох романтизма. Хотя романтизм – «любовь к дальнему», а тут... речь идёт ведь не об идеале – о норме жизни. Это проблема масштабная, речь о мировом контексте. Была внезапная вспышка латиноамериканских литератур. И так же внезапно угасла. Эта лебединая песня не может быть долгой. Наверно, на одно-два поколения. Такой ответ даёт и Анна Неркаги. Паровой каток глобализма не оставляет места для упований. «Пора домой» – это куда, на таёжные тропы, к перекочёвкам? Да, мистерия северной Азии противостоит европейскому миру. Но...

Есть опасение, что эта элегия даст лишь *псевдоморфозы* (вспомним

О. Шпенглера: «Историческими псевдоморфозами я называю случаи, когда чуждая культура довлеет над краем с такой силой, что культура юная, для которой край этот – её родной, не в состоянии задышать полной грудью и не только что не доходит до складывания чистых, собственных форм, но не достигает даже полного развития своего самосознания»). Сибирские народы не назовёшь юношами, это старики, прошедшие все возрастные стадии, но сути это не меняет. Старея, хотят возвратиться к былым ритмам жизни. Испытали когда-то «подъём пассионарности», и вот превратились в реликты.

Если областники писали о бедственном положении аборигенов, их вымирании и вырождении их культуры, то советские публицисты всё это отнесли в «проклятое прошлое». В. Распутин осмыслил XX век как цепь убийственных экспериментов над природой и народом: «Кверху корнями только сажа в трубе растёт». В конце века из романтической любви к дальнему сибирская мысль превратилась в «трезвый охранительный» антимодернизм. Сознание это надо назвать посттравматичным.

В советскую эпоху была явлена убийственная доктрина: *ускоренное развитие бесписьменных литератур*. Аккультурацию выдавали за прогрессивный скачок. И для-ради ускорения столичные литераторы заговорили голосами инородцев. Можно ли нынче восторгаться тем, что о жизни чукчей написали В. Богораз-Тан («Воскресшее племя») и Тихон Сёмушкин («Алитет уходит в горы»), о нивхах Геннадий Гор («Ланжеро»), Рувим Фраерман («Васька-гиляк»), Трофим Борисов («Сын орла»), об эвенках Михаил Ошаров («Большой аргиш»), об алтайцах Афанасий Коптелов («Великое кочевье») «Алитет уходит в горы» – это радость маргиналов по поводу изгнания старейшин, а с ними и родовых обычаев.

Вот пример: «Как пришли мы с отрядом, сейчас же сход ихний созвали. – Ну что, товарищи тунгусы, – сказал Холкин, – перво-наперво про революцию слышали, про красных знаете? Стали потом о разном разговаривать. Муки-то, оказывается, тунгусы в глаза не видывали» (Р. Фраерман). Коммунизм раньше хлеба и «ура» гражданской войне в родовом обществе охотников – это скверный анекдот. Реальность же того времени – облавы на шаманов; газеты с пафосом рапортовали о разрушении культовых мест в тайге, об арестах местной элиты. Как русские советские писатели героизировали «окаянные дни», так и русскоязычные «мастера» прославляли исчезновение очередного этноса. «Нам его из каменного века надо перетащить в наш, комсомольский», – говорят о нивхе (палеоазиате) герои повести Г. Гора. Марксистско-ленинская химера прокатилась по всем национальным культурам, выявив в них разную меру сопротивляемости. А древние-то народы как раз наименее жизнестойки при столкновении с машиной. Если нет уж той земли, то и возврат домой – лирическая утопия.

Взгляд с Запада: «Каждая культура проходит возрастные ступени отдельного человека. У каждой есть своё детство, своя юность, своя возмужалость и старость» (О. Шпенглер). Вот и о возвращении домой... как там в нашем «Коньке-горбунке», сибирском по корням-то: «*Мы и слыхом не слышали, чтобы лъзя помолодеть*». Чтобы из старости – да обратно в юность! «Победивший» себя этнос превращается в охлос, а масса потребителей к сотворчеству с природой не способна.

Скорее всего, это второе дыхание «деревенской прозы». И что же, русские самобытники уступают место почвенникам из «инородцев»? Только вот написана «исповедальная проза» аборигенов уже не на родном языке. А новому поколению читателей традиционализм не интересен. Молодёжь скорее потянется к японцам и никарагуанцам. Усвоил ли *широкий читатель* трилогию В. Белова «Час шестый»? Знают ли сибиряки наследие нашего классика Г. Гребенщикова? Тут сам собой встаёт нехороший вопрос: неужели коренная наша традиция исчерпала себя?

Восточные мудрецы полагали: будущее открывается тому, кто смотрит из глубины. Но что-то не много глубоких и жизнестойких начинаний. Последние русские почвенники оставили вопросы: «Что с нами происходит?» (Шукшин), «Мы почему, Иван, такие-то?» (Распутин). Самый страшный вопрос задал, уходя, В. Астафьев: «Куда же мы делись?». Поколением раньше ответил Н. Клюев: «*Но исполнились, зная, сроки, все пророчества сбылись, и у русского народа меж бровей не прыщут рыси*». Будем считать это предостережением. У клюевско-есенинской школы всё-таки было продолжение, теперь почти угасшее. В широком, мировом контексте это забота о судьбе традиционной культуры.

Юрий Рытхэу подверг сомнению советское отношение к шаманизму. В нём писатель видел опыт общения с космическими силами, творческую энергию. Шаманы – хранители духовной культуры, воспитатели веры, без них распалась связь поколений, и северяне потеряли своё лицо. Тысячелетней культуре жителей Чукотки (где православное миссионерство не имело успехов) нанесён был сокрушительный удар. Рытхэу, прозванный «русским Маркесом», заметил, что «ради шаманов на Чукотку приезжают множество иностранных журналистов. Они обращаются к актёрам местных театров, и те устраивают такой шаманизм, лучше настоящего». В этой обстановке жулики и самозванцы профанируют опыт предков. Чукотскому писателю пришлось преодолеть и установки русских прозаиков, излагавших умиленную историю приобщения чукчей к русской культуре: «Все они очень идеализировали чукчей, ставили наш народ как бы в стороне от цивилизованного человечества...». А его убеждение: «Хороший человек узнаётся по его отношению к природе, к животным».

В романе «Ханидо и Халерха» Семён Курилов воссоздал быт юкагиров, малочисленного северного народа, о котором толком никто ничего не знал. Обычай, одежду, жилища и нартовый транспорт писатель воспроизвёл с сыновней любовью. Главное же – характеры близких ему людей, родившихся в тундре между реками Индигиркой и Колымой, рядом с полюсом холода – Оймяконом. Ещё более интересны современному читателю религиозные традиции народа, шаманизм, без которого нельзя понять культуру северных племён.

Сюжетный стержень романа – эпическое сказание. Ханидо – образ богатыря-правдоискателя. Он борец за счастье народа, в этом его судьба, предназначение. Любовь Ханидо и красавицы-сироты Халерхи – сквозной драматический сюжет романа. Это древний устойчивый мотив. Вспоминаются «Тристан и Изольда», «Ромео и Джульетта», «Лейли и Меджнун», «Василий и Софья»... Такие произведения есть у каждого народа, и драма любящих лучше всего ос-

вещает национальный уклад. Важная тема романа – приобщение малого северного народа к христианству. Священник Синявин (лицо историческое) разочаровался в своей миссии: юкагиры – дети природы, их обычаи неотделимы от «язычества».

Важное место в романе отведено юкагирским легендам и преданиям, в которых оживает культ зверей. Но толкование романа как этнографического будет ошибкой. Этнография – это наблюдение со стороны, здесь же – самосознание народа и формирующейся в нём личности. Фольклорное происхождение имеют имена героев: Ханидо – «орлёнок», Халерха – «розовая чайка», Сайрэ – «орёл». Своеобычны сравнения, взятые из народного присловья, в речи персонажей изобилуют пословицы и поговорки: «Все беды одним ремнём связаны», «Неправда плавает поверху, как жир на воде».

В повести Ювана Шесталова «Синий ветер каслания» (1964) шаман пытается расстаться с прошлым, но не может отбросить свой дар и начинает зарабатывать на нём. К шаманской теме писатель возвращается в повести «Когда качало меня солнце» (1972), изображает камлание деда, его разговор с домашними духами: «То слова божественные. И говорит он волшебным языком, который не многим дано понять». Автор размышляет над заповедями своего народа, а кажется – воспроизводит наработки теософии, «планетарно-космического сознания». Сам писатель даёт на сей счёт пояснения: «Любая философия обретает власть над временем лишь тогда, когда соответствует уму и интеллекту Людей Земли, соответствует Интегралу общего развития Человечества». Здесь нет упоения от прорыва в космос, есть предостережение: «Сила духа ничтожно мала по сравнению с энергией растления». Предостережение с опорой на забываемый опыт народов-стариков – вот что надо здесь слышать: «В миг наступающего апокалипсиса необходимо собраться с Духом. Все силы Духа, выстраданные Землёй, должны собраться у одного очага». Опыт народов Севера – это как раз наука выживания в экстремально трудных условиях.

Еремей Айпин пытается именно возродить культурное наследие хантов, своего немногочисленного народа: «...когда придёт время, он взойдёт на востоке Звездой Утренней Зари и принесёт людям новый день». «Ханты, или Звезда Утренней Зари» – теперь об этом романе слышали миллионы читателей разных стран. А издательская судьба у него была нелёгкая. Десять лет творческого труда – и разочарование: произведение не принимают в авторском варианте, ещё годы ушли на попытки опубликовать его. Писатель составил богатую коллекцию преданий народа ханты, собирал музыкальные инструменты, старинные предметы быта. Автор называет роман своей главной книгой, которую «начал писать со дня своего рождения. Так вначале мне казалось. Но сейчас я думаю, что, возможно, она зародилась задолго до моего появления на свет. Я искал Истину о своём народе». Национальная память «остяков» уходит в тысячелетние глубины охотничьей культуры.

Критики заспорили о принятии Демьяном двоеверия. Главное для него – верить, «чтобы пустоты не было». Но ни в коем случае не разрывать связь с верой предков, без которой нет «Истины Жизни». Роман «Божья мать в кровавых снегах» – запоминающееся произведение постсоветской литературы. В доме домашний очаг охраняет образ Божьей Матери, а боги-идолы за-

щищают человека в лесу и на болоте. Мать узнаёт в принцессах-мученицах лица своих детей. «И Белый царь, побродив по небесным слоям необходимое число лет и зим, вернётся на землю. Душа-то его нетленна. Душа-то его бессмертна. И все его дочери вернутся на землю. И его сын вернётся на землю. И его супруга вернётся на землю».

Не каждая область оставляет истории особую утопию. До конца XX века сибирская реальность давала писателям взаимоисключающие импульсы: чувство голого пространства, где можно воплощать титанические проекты, и последнего прибежища простой жизни в согласии с природой. Сибирские аборигены имеют право сказать языком Тютчева: «*Не то, что мните вы, природа*». У них не было идеи линейного прогресса, историческое мышление их циклично. Прогрессизм заметен лишь у запоздалых апологетов большевизма – С. Данилова, Г. Ходжера, Н. Доможакова.

Исход XX века даёт основания говорить о судьбе «сибирской идеи»: из романтической любви к дальнему она превратилась в «трезвый охранительный» антимодернизм, став идеологией противостояния веку. Но где же тут реализм? Неопочвенники уже не чистые реалисты: их картина мира – консервативно-романтическая утопия. Утопия возврата к оборванной органической традиции. Оборвана идиллия, надежды на восстановление жизненной нормы нет. Возвращение Блудного сына – драма или трагедия, и это лейтмотив новой областной эпопеи.

О. Шпенглер писал о последнем культурно-историческом типе – русско-сибирском. Тут его предсказания совпали с потанинскими надеждами. Примем это как прогноз, подстёгивающий волю к творчеству. Но предсказания «сумрачного германского гения» безрадостны: культура, зависящая от чувства природы, уходит из мирового города, и «кто носится с идеализмом провинциала и стремится воскресить жизненный стиль прошедших времён, тот должен отказаться понять историю, пережить историю, творить историю». В этом духе размышляют очень разные писатели – Ким Балков, Роман Солнцев, Анна Неркаги.

В чём же теперь состоит «миссия Сибири»? Кроме отдачи своих природных богатств? Прогресс достиг внутреннего предела, поставленного природой. Пожалуй, с этим не поспоришь. При потрясающем техническом взлёте – духовная деградация. Сибирь может сказать своё слово и сейчас, когда процесс вестернизации Азии достиг предельной отметки. Зададимся вопросом: что ожидает Сибирь – углубление провинциальности или самобытность?

*Томская областная писательская организация
сердечно поздравляет Александра Казаркина с 80-летием
и желает ему крепкого здоровья и творческих успехов.*

Владимир Крупин

ГРОМКАЯ ЧИТКА

ПИСАТЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ

Писатели, особенно в России, самые настоящие владельцы территорий. Как Питер, так Пушкин, да Достоевский, да приставший к ним Блок. Как Москва, так опять же Пушкин да приставший Булгаков. Как Тамань, так Лермонтов; как Ялта, так Чехов... Словом, не занятых территорий нет.

Я вот попал первый раз в Ялту, иду по набережной и сразу соображаю: да, вот тут гуляла уехавшая от мужа дама с собачкой, и тут встретил её уехавший от жены Гуров, герой повести. Реально гуляли, даже в этом не сомневаешься. Хотя ирреальны, выдуманы, сочинены, иллюзия, галлюцинация, виртуальность. Нет, в том и штука – живые. Как иначе: имеют имя. А оно даётся при крещении. Не крещёные? Тогда как им умирать? А они не умрут: им Чехов бессмертие дал. А кто он такой, чтобы людьми распоряжаться? Он писатель. А-а. Вот оно как бывает.

Первый раз был в Ялтинском Доме творчества, да ещё в таком элитно-престижном, да ещё в бархатный сезон – золотая осень – в самом начале 70-х годов уже прошлого века. А вроде так недавно, и так радостно и ярко помнится. Сам и помыслить бы не мог о таком счастье жизни, но помог очень знаменитый тогда писатель Владимир Тендряков, земляк.

Я работал редактором в издательстве «Современник», и мне досталась для редактирования его книга. Редактировать знаменитого Тендрякова? Смешно! Я очень даже робел перед ним, но после первых встреч увидел, что он ничто лишён даже тени славолюбия, прост, с юмором. Я осмелился показать ему свои рассказы, составлял первую книгу. Владимир Фёдорович их прочёл и сам вызвался написать предисловие. Конечно, оно помогло рукописи продвигаться. Он-то и предложил вместе поехать в Ялту. Хотя формально я не мог претендовать на путёвку в Дом творчества: не член Союза писателей. Но его жена, красавица Наталия Григорьевна, всё прекрасно устроила. Я заплатил за путёвку. Вроде и немного, но сразу скажу, что для нас с женой и это было трудно: выплачивали кредит за кооператив, но жена радовалась за меня и отказалась от покупки осеней обуви – купил билет и через три дня после Тендряковых оказался в Крыму. От вокзала Симферополя троллейбусом до Ялты, там от остановки поднялся по восхитительной змееобразной дороге среди всюду цветущей зелени, и вот предел мечтаний – я в Доме творчества.

В регистратуре спросил о Тендряковых. Да, здесь, живут на втором этаже. Он каждое утро бежит к морю. Оказывается, они говорили им обо мне. Что приеду, что хотя я и не член Союза писателей, но писатель. Мне уже выделено место жительства. Не апартаменты, а служебная комната с маленьким окном, выходящим во двор. Кровати нет, только диван. Но это для меня был такой восторг! Стол есть. Чего ещё писателю нужно: голову с собой привёз, не забыл.

В комнате громко работало радио. «Мицно время двенадцать годин, двадцать хвилин», – услышал я. А вскоре радио поведало, что «погода буде хмарна, без опадив». Радио, чтоб не мешало, выключил.

Прежний житель этого помещения, сантехник, высокий и белокурый, был первым моим знакомым в Доме творчества. Он особо со мной не церемонился, да и я с ним.

Познакомились.

– Александр, – сказал он, – с утра Сашкой звали. А здесь вообще Сашок. Сашок и Сашок. А уже тридцать пять. А за что тебя сюда загнали? Со мной сравнивай. За меня не переживай, у меня в городе комната в коммуналке. Тут иногда падал на пересыпку или когда ночью что случалось. Не могли тебе номер дать?

– Мордой не вышел.

– Но ты разрешишь иногда зайти, пересидеть полчасика?

В дверь постучала и вошла дежурная:

– Сашок, на тебя заявка. С кухни. Срочно. Позвоню, что ты уже идёшь, – и исчезла.

– Беру под козырёк, – отвечал он ей, а мне добавил: – Что бы у них было, когда бы не было меня. И солнце б не вставало. Иду! – Потянулся. – Эх, не пора ли нам, пора делать то же, что вчера. – И мне: – Принимаешь? Вечером посидим? А? Земеля! Душа винтом! Тут у меня и стакан свой персональный. И один запасной. Пользуйся. Не давай им простаивать.

– Ни в коем случае, – твёрдо ответил я. – Я приехал работать!

– А кто не даёт, работай. Но и жизнь не упускай. А то жизнь пройдёт, и жизни не заметишь. Работа! С работы кони дохнут. Молодой, успеешь нагорбатиться.

– Ни за что! Пить и в Москве можно...

– И нужно! – вставил Сашок.

– Я с таким трудом вырвал время для работы, нет, Саша, не соблазняй.

– Ну, смотри, а я, как пионер, всегда готов.

ТВОРЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Конечно, хотелось скорее увидеть наставника, как я про себя называл Тендрякова, но не посмел беспокоить. Я уже знал, что он человек железной дисциплины. Несомненно, работает. Он сам перед обедом меня нашёл. Осмотрел мою келью, проверил, есть ли в кране вода, посмотрелся в зеркало над раковиной, хмыкнул, одобрительно глянул на стол, на котором я уже поставил пишущую машинку, разложил бумаги.

– Всё! Жить можно! Идём обедать. Место тебе мы заняли, сидим за одним столом. Втроём. Я четвертого просил не подсаживать: лишние разговоры.

На крыльце ждала Наталия Григорьевна. С Владимиром Фёдоровичем исключительно все здоровались. В том числе и знаменитости, известные мне по книгам. Но он особо в разговоры не вступал. Пришли по дорожкам меж цветников из главного корпуса в обеденный. Просторный обеденный зал рестора-

на был **полнѐхонек**. Полон приятной музыки, которая звучала поверх разговоров, звяканья ложек и вилок.

Во время обеда Владимир Фёдорович объявил мне мои обязанности:

– Ни с кем не останавливайся, в разговорах не вязни, никаких шахмат, никакого биллиарда, никакого трѐпа, никакого всякого остального! Позавтракал – бегом за стол! Краткая прогулка – опять за стол! Пообедал – спать на час-полтора: кровь после обеда должна быть в желудке, а не в голове. Проснулся – за стол! Только так! Каждый вечер тут кино, фильмы возят с закрытых показов, но не увлекайся, ничего это не даёт. Ну, увидишь постели, драки, и что?

– Володя, – вставила слово Наталия Григорьевна, – сегодня «Гений дзюдо».

– Да, это надо, – согласился Владимир Фёдорович, – увидишь, как победы достаются. И – никакого любования морем: не курортник – ломовая лошадь. Но с утра, – он назидательно вознёс указательный палец, – до завтрака бежим к морю и заплываем. То, что ты умеешь плавать, не сомневаюсь: ты парень вятский.

– Володя, – попробовала остановить его жена, – через неделю ноябрь. Это ты такой ненормальный, а ему зачем?

– Тоже для работы, – хладнокровно отвечал мой наставник. – Да, и ещё: питайся как следует, здесь кормят от пуза...

– Володя!

– А что, неправда? Тут осенью самый цвет из всех республик, сплошные ходячие памятники. Номенклатура. Литфонд старается всех ублажить. В общем, налегай на калории. Надо голову питать. От писательства устаёшь больше, чем от физической работы. Там землю покопал, лес повалил, шпалы поукладывал, на тракторе посидел – поел и спать. И голова свободна. У нас она работает даже не в две-три смены, круглосуточно. Или у тебя не так? Ты ночью вскакиваешь что-нибудь записать? Да? Тогда всё в порядке. И вскакиваешь, и просыпаешься уставший. Вот почему надо взбадривать себя купанием и поддерживать питанием. Значит, так. Заканчиваю инструкцию: в шесть пятнадцать ты одет, обут, хотя можешь и босиком бежать...

– Володя!

– Одет, обут, уже в плавках, сухие трусы и полотенце под мышкой, стоишь у выхода. Через секунду я выскакиваю и, ни слова не говоря, с места бегом к морю, к водным процедурам. Молча. Каждый думает о том, на чём вчера закончил работу, и о том, с чего сегодня начнёт продолжать. Дышать носом, выдыхать ртом. Не уставать, не отдыхать. Прибежали – сразу в воду. Заплыли – выплыли, растёрлись – обратно. Если за мной не будешь успевать – ничего страшного, отставай, придёшь один: дорогу знаешь. На завтраке два-три слова и – по коням! Ни с кем не разговаривай, знакомств не заводь. А то классики любят при себе молодых держать. Чтоб их жѐн на прогулку выводить да для них за мороженым бегать.

– Володя!

– Всѐ! – скомандовал учитель. – Иди! Садись за стол! Не пишется – всё равно сиди. Не смей из-за стола вставать. Дверь не закрывай, ибо могу прийти проверить, работаешь или нет.

Что было возразить? Конечно, он никогда не проверял и ни о чём не спрашивал. А Наталия Григорьевна, чувствуя мои страдания, утешала:

– В следующий раз приезжайте с женой. И всё пойдёт. А в Москве приходите с ней к нам на её выучку. Писательская жена – это жена самая страдающая. Писателю, когда он работает, всегда ни до кого. Дело писательской жены одно – не мешать мужу, скрываться с его глаз. Но в нужное время оказываться, быть рядом. Как угадать это нужное время – это главное. Тут никто не поможет.

ВТОРОЙ ЗНАКОМЫЙ

Пошёл в свой малооконный рабочий кабинет. И тут же нарушил запрет учителя – ни с кем не знакомиться. Не по своей вине, меня перехватил писатель из Западной Сибири. Он, оказывается, бывал в нашем издательстве и там меня видел. Сергей. Да и я, вроде, тоже. Старше меня, уже с книгами, уже член Союза писателей. Поджарый, энергичный.

Сразу, сходу попросил меня взять на редактирование его рукопись.

– Давай на ты, чего там церемониться: одно дело делаем. Прошу: веди мою книгу. Я бабам не очень верю. Они как корректорши – это неплохо, а когда лезут в текст, так прямо как в душу. Да они все у вас городские, причём блатные, дочери всяких секретарей Союза писателей. Разве не так? Что они, голодали, что ли, со мной в моём детстве? Чего понимают в жизни? Жили с пайками, не мёрзли.

Этот Сергей знал про моё издательство больше, чем я. Это вообще присуще провинциалам. Сплетни и новости московские им более, чем москвичам, всегда ведомы. Так что, уехав из Москвы, попал я на московские разговоры. На мою беду этот Серёжа приехал в Ялту ещё и с капитальцем. Откуда денежки, не скрывал.

– Я пробил договор под соцказ. Аванец приличный. Так что пора пропивать. Помогай! Ты первый день? Я неделю уже, тут выпить не с кем. Сам с собой понемногу поддаю. Тут всё гении ходят, сплошь супер-классики. За версту величием тянет.

– А с этим сантехником не пил?

– Да как-то в рассуждение даже не брал. А о чём с ним говорить? Знаешь ведь анекдот: двое ловят третьего, взяли штуку, расплескали. Третий утёрся, говорит: Ну, всё, парни, побежал. – Куда? – А поговорить? Пьём-то ведь не для пьянства, для общения. О, слушай, пока не забыл. Про второй фронт. Они же, Черчилль и Рузвельт, разве нас любили? Жди! Ненавидели. Дождётся от них. Выжидали, кто кого свалит. Только после Сталинграда сообразили, что и без них обойдёмся, стали шевелиться. А до этого вот анекдот. Фронтовой. «Ну, как там второй фронт?» – Да вроде немножко прочерчиллевается. Но пока всё безрузвельтивно». Вот русский язык. Только нам и понятно. А расскажи китайцу, не поймёт. Японцу там.

И слопал у меня этот Серёжа часа полтора. И спросить было неудобно, зачем он в Дом творчества приехал. Анекдоты травить? Знал он их массу. И знал, например, что председатель правления Союза писателей России Леонид

Соболев часто ходил к Хрущёву, и тот всегда ждал его со свежими анекдотами.

– Ну, однажды он Никите не угодил. Тогда же был лозунг «Догоним и перегоним Америку» по всяким показателям.

– Да, – поддержал я, – на токарном станке работал, назывался ДИП-200, то есть догоним и перегоним.

– Ну, вот именно. А Никите говорят: «Догнать можно, перегонять нельзя». – «Почему?» – «Голую задницу увидят». А в бильярд сгоняем?

– Серёжа, не могу, – и тут я соврал: – Мне надо ещё обязательно на почту. Домой позвонить. – Хотя, честно сказать, собирался не звонить, а сидеть над рукописью. Звонить вечером.

– Я с тобой. Тоже давно не звонил. Тут, я покажу, по дороге к морю, не доходя до бульвара, есть автомат. А рядом газетный киоск, деньги меняют. Телефон и в Доме творчества есть. Но он занят постоянно. Ты послушай их разговоры: Сёмочка, не забывай гаммы, Сёмочка, не забывай тёплый шарфик. Сёмочка, ты помнишь свою бабушку?

Что ты будешь делать? Пошли звонить. По дороге он ещё угощал анекдотами, в основном «чапаевскими».

– Василий Иванович, – говорит Петька, – белого в плен взяли. Знаешь, как я его пытал? – Как? – Вечером напоил вусмерть, утром опохмелиться не дал. – Садист ты, Петька. Да, вот тебе политический: Ленин показал, как надо управлять государством, Сталин показал, как не надо, Хрущёв показал, что государством управлять может каждый, Брежнев показал, что государством можно вообще не управлять.

Позвонил домой. У них холодно. Отопление пока не включили. Дочка простыла, сидит дома. «О нас не беспокойся, – сказала жена, – у нас всё хорошо. Работай».

Серёжа пошёл в «разливуху», уличную пивную, но не пивом торгующую, а вином в разлив.

– Ленин в разливе. Помнишь такую картину? Там с ним Зиновьев был, говоря по-русски, Апфельбаум.

ВЫШЕ УРОВНЯ МОРЯ

В общем, я вернулся в свою комнату, сел за стол и понял, что не напишу ни строчки. Даже не из-за Сергея. Что-то сразу не пошло у меня. Может, оттого, что встретились несколько знаменитостей. И пришлось поздороваться. Тут уже я сам вспомнил, не анекдот, а историческую быль: Павел I пригласил Державина на приём в дворцовую библиотеку и, указывая на бесчисленные шкафы с книгами, сказал: «Вот ведь, Гавриил Романович, сколько уже написано, а всё пишут и пишут». Что Державин ответил, не знаю. Наверное, вроде того, что: «Они ничего другого делать не умеют».

И я решил посетить библиотеку Дома творчества. Это и Владимир Фёдорович не запретит. В библиотеке не было никого. Ну, конечно, позавтракали творцы, сидят, молотят. А их продукция – вот она. Огромный отдел книг с автографами бывавших здесь писателей и поэтов. Подумал: может, когда и моя

книга тут будет? И тут же, охлаждая сию мечту, высветился вопрос: «И что это изменит?». Эти сотни томов, толстых и тонких, что изменили? Тоже, небось, дерзали вразумить человечество.

Походил по территории, вышел за неё, поднялся повыше. Долго искал точку, с которой пространство было бы ничем не закрыто – всё сплошь заросли деревьев и кустарников. Поднялся к огромной крымской сосне, я её издали заметил. У меня в Вятке соснам нет такого простора, чтобы, совершенно не думая о других, распространять свои ветви, занимая ими свет и воздух. Там сосны как свечи. И называются они корабельными. А эта сосна, развалистая, разлапистая, других к себе не подпускает. А какие шишки на ней, ближе к вершине, открылись. Тут же решил обязательно сорвать одну на память.

Лазить по деревьям – дело знакомое. Покарабкался. Конечно, посадил на рубaxe и на брюках пятна смолы. Ладно, не на танцы ходить. Сверху всё более открывался морской горизонт. И расширялся обзор на горы, которые казались всё выше, а море отодвигалось, распахивалось и тоже вздымалось.

А огромные шишки росли не у ствола, а на концах ветвей. Хотя ветви были толстенные, появилось опасение, что они подо мной хрустнут. Но будь что будет. Решился. Выбрал одну, толстую, крепкую на взгляд, и пополз по ней. Ветвь покачивалась, но держала. Желанная шишка близилась. Я поглядывал вдаль, на корабли и лодки, и вдруг взглянул вниз – даже голову крутануло: как же я высоко! Передохнул. Стал откручивать шишку, будто отлитую из осенней бронзы. Пока откручивал, решил сегодня же послать её дочери. Смолистый запах убьёт простудные бактерии, дочка выздоровеет. Да и полюбуется.

Открутил, засунул под рубаху. Полез обратно. Пятиться, потом ползти вдоль ствола вниз было труднее. Но справился.

Зашёл в номер, взял деньги и отправился вниз, на почту. По дороге набрал ещё ягодок с шиповника, мелких ярких цветочков, веточку можжевельника. На почте купил коробочку, всё в неё уложил, черкнул записку, закрыл. Когда коробочку завернули в белую бумагу, написал на ней адрес. Коробочку взвесили и присоединили к другим посылкам. Моя была самая маленькая.

И ещё, не утерпел, пошёл к телефону, по которому недавно звонил. И дозвонился, и услышал родные голоса. «Не звони, не волнуйся, не трать деньги, у нас всё хорошо».

Прошёлся по набережной. И – смешно – увидел нескольких дам с собачками. Вот как литература заразителна. Ходили же в Петрограде блоковские «незнакомки» с чёрной розой в волосах. Утверждали, что это именно они и есть.

Вернулся в Дом творчества. Время обеда. И обед прошёл. Владимир Фёдорович ни о чём не спрашивал. Видно было: весь в работе. В номере я даже за стол не сел. Лёг спать. И спал до ужина.

А потом пошёл в кино. Гений дзюдо меня мало утешил. Только и запомнилось, как он учился у кошки становиться на ноги. Он берёт кошку за четыре лапы, поднимает и отпускает. Она в воздухе ловко переворачивается и приземляется на все четыре. И песня лезла в голову, жалостливая, из другого фильма: «У кошки четыре ноги, позади у неё длинный хвост. Но трогать её не могли за её малый рост, малый рост».

ВСЁ ПО РАСПИСАНИЮ

И потекли «творческие» дни. Утро. Бежим к морю. Молча. Прибегаем. На весь берег мы одни такие ненормальные. На нас даже смотреть приходят. Уже они в куртках и осенних пальто.

Наставник учит:

– Разделся – не сидеть. Вспотеешь, может просквозить. В воду! Сразу! Сколько можешь, проплыви. Обратно. Растирайся до красноты. Оделись – сразу бежать. Смотри, дышишь плохо, неровно, судорожно. Дыхалку тренируй. Вдыхаешь носом: раз-два-три-четыре, выдыхаешь ртом: раз-два. В армии гоняли?

– Ещё бы.

– Основа есть. Здоровье для писателя – первое дело. Чего ты напишешь, когда весь в соплях. Ну, побежали.

И обратно молча бежим. Конечно, медленнее: в гору.

Там завтрак, там тупое сидение за столом. То, что собирался делать, стало почему-то неинтересным. Привёз и заготовки, черновики. Перебираю – ничего не хочется доводить до ума. Одно дело делал – три дня читал и писал рецензии на привезённые рукописи. Крепко забил голову текстами рукописей о рабочем классе и колхозном крестьянстве. А также о счастье прихода в Россию революции. Что делать – это мой заработок. Отсылал их бандеролью в издательство. Звонил, конечно, домой. Жена жалела, что много прозваниваю. Но я без их голосов не мог. Посылочку мою они, к моей радости, через два дня получили. Шишка крымской сосны стала украшением стола на кухне. Этот факт я лично сам рассказал «своей» сосне, к которой полюбил подниматься.

Но – хоть стреляйся – не писалось. Для настройки на работу перечитал, сидя у сосны, «Капитанскую дочку». Ничего не настраивалось, только понял своё ничтожество. Так же мне не написать.

Ходил по набережной. Поднимался по канатной дороге на самый верх над городом. Уходил повыше, находил место потише, дышал простором. К обеду воздух горячел, осенние, предзимние травы напоследок оставляли о себе память наркотическим запахом. Посещал и библиотеку, там всегда никого не было. Спокойно, светло, много окон. Пролистывал книги с автографами авторов, написанные именно здесь. Ну, так-то, как они, может, и напишу, но зачем, если только так?

Владимир Фёдорович сидел в своём номере безвылазно. Вечером они уходили гулять. Иногда и меня приглашали. Он тогда писал повесть «Ночь после выпуска». И ещё статью для «Правды» о бригадном подряде. Его возмущало, что бригады южных людей – армян, молдаван, гуцулов – перебивают заказы у местных мастеров на строительство. А начальство местное нанимает приезжих, оправдывая это тем, что приезжие работают быстрее. Всё так, но у местных ещё и свой дом, домашнее хозяйство, дети. А платят им меньше, чем приезжим. Почему? Те работают аккордно, по договору, у местных зарплата или трудодни. Как ни работай, больше не заплатят. А ещё в минусе то, что приезжие могут и подхалтурить, где-то понебрежничать, для скорости мо-

гут, как выражаются строители, шурупы не ввинчивать, а заколачивать, как гвозди. Сверху глядеть – красиво, а внутри разорванная резьбой древесина, удобная для загнивания. Много всего. Стены кирпичные кладут – торопятся, экономят. Кладут в один кирпич, да не в горизонтальный, в вертикальный, другой ряд, параллельно, так же, а пустоту засыпают чем угодно. Разве сохраняет тепло такая стена?

Это мы с ним, как люди сельские, знали досконально и обсуждали со знанием дела. Он вообще считал, что аккордная оплата труда поможет поднять колхозы.

– Почему же не свои зарабатывают? – возмущался Владимир Фёдорович.

Утренние пробежки соблюдались неукоснительно. Дождь не дождь – бежим. Однажды утром с нами побежал и Сергей. Но только один раз. На берегу сказал, что в воду не пойдёт, у него от холода сводит икроножные мышцы. Потом, когда вместе шли на завтрак, объяснил:

– Я эту группу икроножных мышц надорвал, когда занимался бегом на короткие дистанции. Я спринтер, – объяснил он, – человек рывка. А тут надо стайером быть. Я и пишу так. С низкого старта резко, и пошёл-пошёл до финишной ленточки. Я тут, тебя ещё не было, повестушку намахал за неделю. Прямо на машинке настучал. Там, у себя, я тебе рассказывал, соцзаказ через обком выбил. Лозунг «Всем классом на ферму!». Поддержка призыва партии. То есть выпускники не в институты едут поступать, а остаются в колхозе. Тут и сюжет. Одна девчонка у меня говорит: «А я хочу врачом быть». А парторг: «Кто же тогда будет поднимать отстающие колхозы? – И так ей отечески: – Ты всё успеешь, ещё молодая, поработай для познания жизни два года». А в городе идёт движение: «Всем классом на завод!». Там другие проблемы: борьба сознательной молодёжи со стилистами, фарцовщиками.

– А ты напиши ещё: «Всем классом в литературу!».

– Ладно, не поддевай, – отмахнулся он, – я ж только для заработка. Для души я тоже делаю, давно строю одну вещь, но, – он постучал костяшками пальцев по перилам крыльца, – тьфу-тьфу, не слазить, не буду разглашать.

КАТАНИЕ ШАРОВ

После завтрака он всё-таки затащил меня в пустую бильярдную. И я согласился сгонять партию. Проклинал себя: нарушаю запрет учителя, но и оправдывался перед собой: всё равно же не пишется. И надо же акклиматизироваться.

Сергей меня, конечно, обстучал. Хотя к концу партии мои руки и глаза, наверное, вспомнили, как, бывало, игрывал в клубе нашей части, пару-тройку «чужаков» от двух бортов в среднюю лузу вогнал. Что называется, разогрелся. И сам предложил:

– Давай ещё одну.

Уж очень хороши были здесь шары, медово-жёлтые, из слоновой кости, стучали друг о друга как-то по-особому, не звонко и не глухо, а чётко, как будто команду отдавали. Армейские были так избиты, с такими выщербинами, и

так самостоятельны, что сами решали, куда им двигаться после пинка кием, могли и свернуть от приказанного направления.

Во время второй партии Сергей доверил мне свою заветную мечту: переехать в Москву. Мечта эта была вполне осуществима. Надо было просто жениться на москвичке.

– Смотри, – сказал он, – ты этих писателей всех знаешь, даже фамилий не буду называть. Они там у себя, в областях, делали первые шаги, чего-то добились, в Союз вступали, потом с жёнами разводились, а в Москве женились. Из Петрозаводска, из Архангельска, из Оренбурга, Барнаула, Иркутска, Кургана, Кирова... Да ты их знаешь. И дела у них пошли. Даже не от того, что ближе к кормушке, – в Москве же общение, жизнь кипит. В провинции задохнёшься, я тебе говорю. Болото. А вражда! Десять членов союза – три партии. Вон и у Чехова сёстры кричат: «В Москву, в Москву!». Я зимой путёвку в Переделкино возьму. Там близко ездить до центра на электричке. У меня и намётки есть. Пару редакторш в издательствах присмотрел. Они, я по глазам чувствую, не против.

– Переспать с тобой?

– Нет, по-серьёзному. Да вот, хоть и в твоём издательстве. Вот эта, которая у меня редактор. Немножко в годах, но годится.

– Ты же говорил: не хочешь, чтоб книгу баба вела.

– Так то книга. А тут жена.

– И квартира?

– И это надо. Или готовая, или кооператив.

– Но твоя-то жена как? Теперешняя? – В этом месте я заколотил в угловую. И, примеряясь к новому удару, заметил: – У меня все друзья женаты один раз. – Ударил. Промазал.

Сергей вытер тряпкой набелённые мелом пальцы.

– Понимаю. Тут же задаю ответные вопросы: А если женился по пьянке? А если дура оказалась? А если жить негде, коммуналка? Мне же писать надо! Если Бог талантом наградил, значит, надо реализовать. Так? Или не так? А если нет условий? Тёща сволочь, тесть пьёт и пилит. А если загуляла? А если ребёнка не хочет?

– И это всё одна?

– Нет, это варианты. У меня другое: у меня глухое непонимание, чем я занимаюсь. Ни во что не ставит. Напечатаюсь, показываю. Она: «А сколько заплатят?». Ты бы стал с такой жить?

– Так ведь и меня пилит. Если с парнями с гонорара выпью. А кого не пилит? Такая у них обязанность. Вчера перед кино случайно услышал, как этого, знаменитого, на втором, блатном этаже живёт, да знаешь, о ком говорю.

– Знаю. И что? Баба пилит? Так она у него третья. Я на второй остановлюсь. Только надо всё рассчитать.

– А как же любовь?

– Любовь? А что важнее: любовь или литература? Искусство поглощает целиком. Меня крепко вразумил один матёрый, ты должен знать, Фёдор Александрович, говорит: «Ты хотел быть писателем?» – Да. – «А зачем женился? А если женился, зачем ребёнок? Ты – писатель!» Но мне-то вначале надо в

Москву переехать. Там решать. Нельзя время упускать, надо в литературу по уши, по макушку завинчиваться. Старичок! Навсегда сказан афоризм: кадры решают всё. А для писателя что есть кадры? Окружение. Оно его вытащит, как свита короля.

Тут и он промазал. И воскликнул:

– Эх, хохол плачет, а жид скачет.

– Наоборот, – поправил я. – Жид плачет, хохол скачет. Знаешь ведь давнюю поговорку: – Где хохол прошёл, там евреям делать нечего.

Тут я благополучно и аккуратно закатил подряд три шарика и вышел в лидеры второй партии.

– Ещё? – раздорился Сергей. – А? Третья, контрольная!

– Боюсь в разгон пойти, – отказался я. – Я человек заводной. Контрольную давай отложим. У тебя два тут срока пребывания, у меня один. Вообще давай считать, что ты победил.

Да, бильярд, с его сверкающими на зелёном бархате шарами, мог и затянуть. Да и все другие игры, в которых Сергей был мастер.

– А партийку в шах-маты, а?

– Я в них не мастак, знаю только, что конь ходит буквой гэ.

– Я тоже так: е-два, е-два.

– «Шахматы – они вождям полезней», – отвечал я словами Маяковского.

– «Нам бильярд отращивает глаз», – продолжил Сергей. – Нет, шахматами не пренебрегай. Смотри, евреи далеко не дураки. Если им неохота землю пахать, стали умом зарабатывать. Чемпионы сплошь они. Карпов только резко возвысился, да ещё раньше Алёхин. Но шахматы – это комбинации, они комбинаторы. У них Остап Бендер икона.

Больше в бильярдную я не ходил. А партнёром Сергея стал старичок-драматург, Сергей звал его Яшей, известный, кстати, драматург, который кормился идущими в театрах на периферии «датскими» постановками. Датскими, потому что к датам: Новый год, Восьмое марта, Первомай, Октябрьская.

Но у них с Сергеем игры были на деньги.

– Я его заставлю платить, – говорил Сергей. – Ишь, устроился: шары какает, а ему денежки каплют. Или капают? Что в лоб, что по лбу. Яша силён. Запрещает по отчеству называть. Худой, вроде еле живой, а привык по Домам творчества ездить, везде же бильярд, наблатыкался. Начали с рубля. Его, чувствую, затянуло. Пока я в минусе. Но это я его заманиваю.

ПРИГЛАШЕНИЕ В СФЕРЫ

Так как меня и в ресторане, и в кино видели всегда с Тендряковым, то и со мною стали здороваться. Вот интересно, властями Тендряков обласкан не был, а знаменитость его превышала многих со званиями и наградами. Что ни говори, а в писательском мире существует свой гамбургский счёт. Здесь, в Доме творчества, был на отдыхе даже писатель Герой Социалистического Труда. Таких в Союзе писателей было всего несколько. В обиходе таких героев называли Гертруда. Но это же женского рода. Правильнее было говорить Гертруд.

Наш Гертруд нигде почти не показывался. А и он, я заметил, считал за честь пообщаться с Владимиром Фёдоровичем.

Сказал к тому, что ближе к середине срока мы шли с завтрака. И, что раньше не бывало, Владимир Фёдорович спросил:

– Ну как, идёт дело?

– Да трудновато, – в замешательстве ответил я.

– Это очень нормально. Иначе как? Надо, милый ты мой, сто раз перему- читься, пока пойдёт. Может, что считаешь нам с Наташей? Из готового?

– Ой, нет, ничего не готово, – я всерьёз испугался. И скрылся за авторите- том: – Хемингуэй писал о себе: «Я стал читать незаконченный рассказ, а ниже этого нельзя опуститься».

– Ладно, не опускайся, – засмеялся Владимир Фёдорович.

Тут нас тормознул классик одной из южных республик. Иона Маркович. Он на завтраки не ходил, завтракал в номере. Ему персонально привозили продукты из его республики. В том числе и вино.

Раскланялись.

– Владимир Фёдорович, позвольте попросить вас о большом одолжении. Посмотрел на меня, протянул руку. Я представился. Понятно, что он, при его известности, мог и не представляться. Он притворился, что слышал обо мне.

– Владимир Фёдорович, мы на местах, у себя в республиках, конечно, отслеживаем настроения в Москве. И видим явные повороты в сторону поощре- ния фронтовой и деревенской темы. Астафьев, Ананьев, и Бондарев, Бакла- нов, Быков, все на бэ, – улыбнулся он, – фронтовая плеяда, вы, Троепольский, Абрамов, из молодых Белов, Распутин, Лихоносов, Потанин, Личутин, Крас- нов, Екимов – деревенская смена фронтовиков, – это всё, так сказать, компас- ные стрелки генеральных линий. Очень правильно! Хватит нам этой хрущёв- ской показухи!

– Хватит, – весело согласился Владимир Фёдорович.

– Да! И особенно пленяет ваша смелость в изображении теневых сторон современности, нелицеприятный показ...

– Ладно, ладно! – прервал Владимир Фёдорович. – Чем могу служить?

– Видите, нас всегда вдохновляла русская литература.

– И что?

– Я ведь тоже из сельской местности. Не совсем. У меня отец партработник, так что жили в центре, но я часто бывал у бабушки и дедушки. Они держали гусей, и доверяли мне сопровождать их до речки...

– А в чём просьба? – опять перебил его Владимир Фёдорович. Я понимал, что ему не терпится сесть за стол.

– Короче говоря, я тоже решил писать в полную силу правды, ведь сколько мы пережили, надо успеть зафиксировать. Короче: послезавтра собираю близ- ких людей, чтобы прочесть то, что пишу, и попросить совета. И очень прошу удостоить честию. И вас, – адресовался он ко мне, – тоже. Послезавтра.

– А чего не сегодня, не завтра? – спросил Владимир Фёдорович.

– Но надо же подготовиться, заказать, чтобы привезли кое-что для дорогих гостей.

Так я благодаря учителю был приглашён в общество небожителей. Клас-

сик Иона Маркович перечислил званных: все сплошь знаменитости, плюс два главных редактора толстых журналов, плюс Герой войны, маринист. Плюс два критика, как без них. Но, видимо, придёт из них кто-то один: они из враждующих лагерей.

СПЕЦКУРС КРИТИКА

Одного критика я вскоре узнал лично. До этого знал заочно. Его все знали: со страниц не слезал. Писал, как о нём говорили, широкими мазками. Оперировал всякими амбивалентностями. И был до чрезвычайности смелым, ибо требовал от писателей смелости. Прямо Белинский нового времени.

Он сам, оказывается, что-то у меня прочёл, знал, что предисловие к моей первой книге написал Владимир Фёдорович, всё знал.

– Ты молодец, – похвалил он меня. – Молоток. Держись за Тендряка. Локомотив. Вытянет.

Конечно, он был уверен, что я взялся редактировать книгу Владимира Фёдоровича только для того, чтоб сорвать с него предисловие. Увы, в этом мире **никто** не верит в бескорыстие.

Критика звали Вениамин, Веня. Своё критическое кредо он изложил мне, поучая, как надо жить в мире литературы. Вообще, интересно: меня всегда все поучали. Может, я такое впечатление производил, недотёпистое. И в Ялте ведь избегал разговоров, знакомств, а он меня отловил. Сам виноват: неосторожно пришёл в кино задолго до начала. Он взял меня под руку и, вода по дорожкам среди цветников, напористо вещал:

– Слушай сюда. У нас семинар Золотусский вёл, учил: чтобы вас заметили, надо быть смелым. А как? А так: не бояться ни званий, ни регалий того, о ком надо резать правду-матку. Чем знаменитей объект критики, тем заметней критик. Понял, да?

– А ты резал? Правду-матку. Или ещё не дорезал? – отшутился я.

– Тут не хиханьки-хаханьки. Тут борьба. Тут всякие приёмы годятся.

– То есть вольная борьба?

– Ещё какая.

– Какая?

– Вот у меня статья написана о старшем поколении, резкая, честная. Сколько можно этим старпёрам в литературе командовать: все должности захватили, премии делят, карманных критиков-лизоблюдов при себе держат, прикармлили. Нет, так нельзя! Я режу: до каких пор? Вот в этом заезде два главных редактора, пузом вперёд. Я и того, и другого в статье уел. Им не прочихаться. По благу у них всё. Свой круг авторов, свои акценты. А как прозаики они кто? Какого размера? Ну да, что-то было. Было – прошло. Пора место знать! О, эта статья наделает шуму. Я её ещё зимой в Малеевке начал, потом летом в Коктебеле продолжил. Сейчас доколотил. Но вот тут главное. Слушай. Если бы тут третий редактор был, я бы именно ему статью отдал. А тут они, оба, на кого я нападаю. Как поступить? Что я делаю? Учись. Вырезаю из статьи всю критику на того редактора, кому отдаю читать. Ему нравится, ещё бы, его не трогаю. Он

говорит мне: «Ты молодец, правильно их отхлестал. Напечатаю. Но этот год у меня расписан, начало того тоже занято. Давай поставлю на март-апрель». На март-апрель, как тебе нравится? Ну?

– И что?

– Как, и что? Начало ноября сейчас. Полгода ждать.

– И что? Читать же не разучатся.

– Нет, юное дарование, ты ещё далёк от понимания процессов. Так вот, я благодарю его, а сам в рукопись обратно всю критику на него возвращаю, а вырезаю критику на другого редактора. И тоже отдаю читать. Читает. И тоже – довольнѐхонек! Говорит: Веня, срочно в номер! Идёт в двенадцатом. Бомба!

– А как ты с первым-то будешь потом встречаться?

– Да никак! Начнёт меня поносить, я тут же реплику: господа, я в подковерные игры не играю, живу с открытым забралом. Нет, старичок, пора нам валить этот дурдом в Союзе. Ты хорошо начал, не останавливайся, набирай очки. Я тебя по «Сельской молодёжи» заметил, Попцов молодец, тянет парней, заметил тебя, вы там с Прохановым начинали.

– Проханов раньше.

– Так он и постарше. Он будь здоров, парень моторный. О конфликте на Даманском крепко написал. Уже ему и страны мало, уже из Кампучии репортажи. Спецслужбы на него поставили. И ты смотри, будь зорче. Литература – это такое дело: слопают и костей не выплюнут. Это же шакалы.

– Кто?

– Писатели! Ты чего, под дурака косишь?

– Ну нет, тут я не согласен.

– Да пожалуйста, блажен, кто верует, веруй. Схлопочешь пару измен от заклятых друзей, поумнеешь. Литература, брат ты мой, круглый стол с острыми углами, не я первый сказал. Садятся за стол и локти пошире раздвигают, чтоб никто рядом не сел. Держись за меня, я сколачиваю поколение на смену мастодонтам. Готовлю прорыв. Уже и семинар веду в Литинституте. Ко мне молодые рвутся. Чувствуют, где направление главного удара. Ты давай, тоже начинай посещать. Я и Селезнёву помог из Краснодара переехать. Подтягиваю силы. Надо в стенку сбиваться. У них, смотри, всегда бригадный подряд, всё братья: братья Стругацкие, ну, эти ещё ничего, братья Вайнеры. А в критике с нашей стороны вообще завал. Не всё же нам на Лобанова, Лакшина, Ланщикова надеяться. Надо крепче врага теснить. Примерно как «Новый мир» и «Октябрь» сцеплялись. Кочетов молодец, но его количеством задавили.

К нам подошёл Сергей. Конечно, они-то были давно знакомы. Тем более критик Веня как раз был из тех, кто приехал в Москву из провинции, то есть мог Сергею пригодиться.

– Ареопаг в сборе, – заметил Веня.

Пошли. Но в вестибюле я отстал от ареопага и вернулся на улицу. Ходил по периметру Дома, потом зашёл в номер, собрал исписанные листки, поднялся к своей сосне и сидел до темноты.

Так уже бывало. Меня угнетало то, что живу тут в такой благодати, и не работаю. Просто ужасно – никакой продукции. Напишу строчку – зачеркну. Ещё напишу – ещё зачеркну. Доехал страничку – скомкал. Но не выбросил.

Копил похеренное для прогулки к сосне. Там, на чистом местечке, сжигал свои черновики. Подкладывал сухих веточек, глядел на огонь.

И САШОК ПРИХОДИЛ

Ежедневно виделся и с Сашком. Он вообще был деликатен и, если заставал меня за столом, то тут же поворачивал. Если же я лежал на диване, а лежал я часто, то присаживался и развлекал. Все его истории были о теневой стороне жизни обитателей Дома творчества.

– Соню знаешь? Старшая официантка.

– Нет.

– Ну, увидишь. Из отпуска скоро придёт. Она и сейчас ещё очень ничего. А раньше вообще. Что ты! Королева красоты, цветок невинности! Идёшь вечером в город, её уже угощают в лучшем ресторане. Я ей как-то говорю: «Чего ж ты у себя-то не ужинаешь?». Говорит: «Я и с тобой могу поужинать. В состоянии? Веди». Смешно. Веди. На мои трудовые? Хотя и подкидывают, конечно, но ведь семья. А если чего другое надо, пожалуйста. Меня в любую постель затащат.

– В любую? Врёшь.

– Да, вру, – усмехнулся он. Налил и выпил. – И про Соню соврал, фантазия. Это я от обиды ляпнул – отринула. А этим жёнам чего? Мужья горбатятся, лысеют, а им что? Какие на веранде сидят, вяжут, какие языками плетут, какие на лежаках у моря. Я по вызову прихожу, сразу понимаю, в чём проблема. Тут не кран, тут сильно другое.

– Не надо, – прерывал я. – Сашок, сантехника – это хорошо, но заведи хобби – перо и бумагу: ты столько знаешь неизвестного о тайнах Мадридского двора, да ещё и присочинить можешь. Такие записки драгоценны для потомков. И спрос на них растёт.

– Нет, – отвечал Сашок, – я в этом не волоку. Да и зачем? Я мужик, я всё могу. Я до города в селе был, понимаю и во саду, и во поле, за скотиной ходил. И в городе не пропал. А на этих гляжу: здоровенные мужичины, на них пахать надо, а они сидят целый день как кассирши: тык-тык-тык, чирк-чирк. Мне даже и книги когда дарят. Я гляну из любопытства: всё трынделки, одна брехня. А потом им же надо что-то сказать. «Ну как, Сашок, прочитал?» – «Да, а как же. Всё очень подобно, жизненно. К цели ведёт». Рады, ещё и на бутылку дают.

Сашок уже не уговаривал выпить, но сам выпивал. Для этого в моём номере держал стакан.

– Тяпну грамульку. Для кручины нет причины. – Опрокидывал. Всегда при этом прибавлял: – Эх, горе нам, горе нам, горе нашим матерям. – Крякал, заедал принесённым с завтрака сыром, вставал: – Ну, давай трудись. Соответствуй.

Раза два он перебрал и даже попел для меня. Две песни. Одна: «Мишка, Мишка, где твоя сберкнижка, полная червонцев и рублей. Самая нелепая ошибка, Мишка, то, что в книжке нету прибылей». Другая: «Ну, что тебе ска-

зять про Сахалин, на острове нормальная погода. А я тоскую по тебе и пью всегда один, и пью я от заката до восхода».

Видимо, и на него действовала творческая атмосфера, здесь царящая. Он однажды даже рассказал, как он выразился, «историю биографии». Пришёл выпивший:

– Сделай запись, а то забудешь.

– Чего запись?

– Историю моей биографии последнего дурака.

– Пишу. – Я в самом деле взял бумагу и вооружился авторучкой.

– Пиши: я мог стать на уровень министра, а не стал. Спросишь, почему?

– Нет, не спрашиваю.

– Правильно: любопытство хуже свинства. Потому что вижу: в начальники рвутся карьеристы и подлецы, смотрят на кресло, как на заработок. Это понятно?

– Как не понять, это публицистика.

– Так вот, уточняю: я во всём был будь здоров. Хоть физика, хоть химия – нету равных. Что в длину прыгал, что в высоту. Математичка мне всерьёз говорила: «Сашуля, твои данные говорят о многом». Другие учителя соответственно. Прочили светлое будущее. И вот я здесь сижу со стаканом и разводным ключом... Можно закурить?

– Тут мы задохнёмся, пойдём на улицу. Бумагу с собой беру.

– Да можно уже и не записывать: летай иль ползай, конец известен.

У корпуса было пустынно. Сели на лавочку, на которой любила отдыхать Наталия Григорьевна с подругами. Ещё шутила: «Главное дело писательской жены – помогать мужу. А помогать мужу-писателю, значит, уходить с его глаз. И к работе не ревновать».

– В общем, – продолжал Сашок, – дальше неинтересно. У меня мама умерла рано, я только школу заканчивал. Отец её очень любил, ну и, понятное дело, заболел-заболел – и за ней. А я уже в институте, а я уже и там на первых ролях. А у меня квартира. И, конечно, весь курс заваливается ко мне. Дальше, по тексту, пьянки-гулянки. Однажды просыпаюсь с девушкой, которая беременна от меня. О чём мне объявлено в присутствии тёщи, которая пришла в мою квартиру, как ты сам понимаешь, жить навсегда. В которой и сейчас живёт.

– А ты с ними живёшь?

– С ними только другие такие же змеи уживутся. Да и то передерутся.

– То есть ты разошёлся?

– Через тюрьму.

– Как?

– Как залетают, так и я. Не вынес я такой жизни и руку вознёс. Уже были зарегистрированы. Я же порядочный человек, у меня отец – фронтовик. Отметелил их, как полагается – и на нары. Там и сантехнику освоил, и слесарное дело. Понимал: чем-то же надо будет кормиться. Но поклялся: чтобы ни с одной бабой больше недели не застревать. Ну, месяца. Ладно, – сказал он, аккуратно затушив окурок о край красивой урны, – так не так, перетакивать поздно. Я как разошёлся...

– Разошёлся?

– Проще говоря: развели. Она постаралась. С тюремщиками легко разводят. Ещё легче выписывают с площади. Спасибо скажи, говорит, тебе комнату в коммуналке выменяла. А ещё ударишь, и оттуда выгоню. Так я о чём?

– О верности жене.

– Да! Пошёл в разгул, когда паспорт без штампа о браке получил. А если бы с женой в любви, так разве бы на сторону хоть раз поглядел?

НИЖЕ УРОВНЯ МОРЯ

И ещё на одно мероприятие для избранных я попал благодаря Тендрякову, на экскурсию в знаменитые винные подвалы «Магарач». В переводе «стоянка осла». Знамениты они ещё и тем, что фашисты, долго жировавшие в Крыму, знали, конечно, о винных подвалах, искали их, но – великая честь ялтинцам – никто не выдал, где они.

Из-за этой экскурсии приглашение к Ионе Марковичу на слушание авторского чтения новонаписанной повести было перенесено.

В делегации с русской стороны были Лазарь Карелин, Юрий Нагибин (они потом написали об этой экскурсии), кого-то и не помню, потом мы с Владимиром Фёдоровичем, от братских республик были знаменитости из Армении, Грузии, Молдавии, Украины, прибалты были, были и из Средней Азии, – сплошь отборные письменники.

Привезли на комфортабельном автобусе с музыкой и кондиционером. Перед входом в большие стальные двери всех облачили в белые халаты.

Сопровождал стеснительный, но очень знающий молодой учёный, кандидат винодельческих наук (да, и такие есть). Он подошёл к Владимиру Фёдоровичу с его книгой, стеснительно попросил об автографе, прибавив, что именно Владимир Фёдорович – его любимый писатель. Стал вести экскурсию. Тендряков весело мне подмигнул: «Без бутылки не уйдём».

Началась экскурсия. Спустились в подвалы по деревянным, но не скрипучим лестницам. «Дубовые, – пояснил сопровождающий, – как и бочки для многолетней выдержки. – Будем находиться ниже уровня моря.

Экскурсию заинтересованно воспринимали армяне, грузины, молдаване, украинцы. Но для меня, а я видел, что и для наставника тоже, это была пытка. Вот представьте: подходим к очередной пробе очередного сорта вина, так сказать, перебродившего сока солнечной виноградной лозы, постепенно дошедшего до названия нового сорта вина или его разновидности, учёный рассказывает, шо цэ такэ е. Мелькание слов: солнечный склон южный, а лучше бывает и восточный, благоприятная погода, затяжная весна, дождливое лето, раннее (позднее) созревание, букет, выдержка, участие в конкурсах, получение тогда-то там-то вот этой медали (рисунок). Потом тебе дают десять капель этого вина. Надо не сразу выпить, а подержать его во рту, языком повозить в нём, ощутить и нёбом, и гортанью. Потом проглотить, или – вариант – выплюнуть. Рот прополоскать минеральной водой, снова выплюнуть в ручеёк, текущий вдоль демонстрационного стола. Потом обсуждение, потом дальше.

Нет, это была пытка. Изысканная, комфортная, но пытка. Я уже подумы-

вал, как бы смыться, да взять на набережной кружку пива, да посидеть, глядя на волнистое море. Но куда там: протокол, программа. Оказанная честь. Надо ценить. Но Владимир Фёдорович чувствовал то же самое, что и я. И на одном из переходов из зала в зал сказал экскурсоводу:

– Слушай, ты нам с Володей дай по бутылке, и веди их дальше.

И бутылка, не одна, а две каждому в плотных бумажных пакетах, были нам подарены его помощниками. И мы, хотя явно не англичане, но ушли по-английски. Так сказать, десантировались.

МАРГАНЦОВКА

После подвального холода отогревались на скамье прибрежного бульвара.

– Ну что, – произнёс учитель, – наши организмы перенесли такое издевательство, надо их утешить. Вон автоматы газировочные. Там стаканы. Нет, не дёргайся, тебя засекут, а на меня не подумают. – Он встал, пошёл к автоматам и вскоре вернулся с чисто вымытым стаканом.

С тех пор я не видел такого вина, «Чёрный доктор». А тогда отличился перед учителем. Пальцем проткнул пробку. Владимир Фёдорович изумился:

– Он у тебя металлический?

– В кузнице работал, – отшутился. – Должен же я хоть что-то уметь.

И мы, не спеша, ничем специально не заедая, чтобы не портить впечатление от такого вина, приняли в себя для здоровья тела и радости душевной напиток этого крымского доктора. Никто нам не мешал. Только подошла девочка лет четырёх и задала интересный вопрос:

– Дяденьки, а почему вы марганцовку пьёте?

Не успели придумать ответ, как её отозвала то ли мама, то ли нянька.

Как же было отрадно глядеть в синюю даль на корабли, на облака над ними. И спешить никуда не хотелось.

– Скоро добыю, – сказал Владимир Фёдорович. Он говорил о повести. – Дам тебе прочитать. Если получилось, можно в книгу включить. Её у меня «Новый мир» берёт. Или «Дружба народов». Серёжка должен скоро приехать Баруздин, редактор. Всё просит. Может, и ему. У него журнал хорошо идёт по республикам. А «Новый мир» и за границей востребован. Твардовский, у нас дачи рядом, каждый раз напоминает. Ну что, тёзка вятский, беря в рассуждение малую градусность вина, но прекрасный его вкус, созданный из винограда, выросшего на кто его знает каком склоне, и непонятно, в какое лето, и не нам знать, когда там солнце соизволило участвовать в созревании лозы или когда дожди сие дело тормозили, о, как изысканна моя преамбула к самому простому действию: пора понять, что вторая бутылка по нам тоже соскучилась. Как считаешь? Надо и ей башку свернуть. А ещё одну возмёмшь себе, а ещё одну с Наташей употребим.

– Нет, нет, – торопливо сказал я, – обе вам.

– Хорошо, – согласился Владимир Фёдорович, – другой отказывался бы гораздо дольше. – Он засмеялся вдруг: – Эта девочка-то как, а? Марганцовка. Смешно. И вставить куда-то можно. Вставь, дарю. Взрослые дяди спёрли ста-

кан, пьют марганцовку. Мы бы и сами могли купить, да нет такого вина в продаже, вот канальство. Всё у нас не для нас! Ансамбль «Берёзка» везде, только не в России, басы у нас какие! В Болгарии Борис Христов говорил о шляпинской школе. Доримедонт Михайлов! А Ведерников-то тоже наш, вятский, как и Шаляпин. Гордишься?

– Ещё бы! – воскликнул я.

– Наливай! Посмотрим, чем на громкой читке будет угощать южный гений. Меня он ещё после тебя потом душил разговорами: учимся, говорит, у русских говорить правду. Знает наших лучше нас с тобой. Всё читает. Например, читал ты Гранина, Чивилихина?

– Да.

– Можно не читать. Это большеформатные очерки. Обслуживание тезисов, продиктованных верхами.

– У Чивилихина «Кедроград» и о Байкале, это же нужно, – защитил я. – Он именно Распутина поддержал.

– Это да. Распутин на смену идёт. От Белова я многого жду. Его Александр Яшин вырастил. Но ведь у самого Яшина «Вологодская свадьба» тоже не литература. Это опять же очерк. Нет широты. Мальцев, Троепольский. Как и Феди Абрамова «Письмо землякам». Зауженные местные проблемы. Астафьев, – Владимир Фёдорович сделал паузу, – совсем не успокоенный. А вот я не могу писать о войне. И не хочу. Хоть и заработал право. – Он показал кисть руки, искалеченную осколком. Юра Бондарев пишет, молодец. Василь Быков, Сеня Шуртаков. А Володя Солоухин не воевал, в Кремлёвском полку служил. Но свою нишу занял. Грибы, цветы. Тоже надо. Только бы лапти не воспевал. Чёрные доски эти.

– Но он же их сохраняет.

– Зачем? А что, без них и Лувра нет, Русского музея, Дрезденской галереи?

– Мне очень его «Владимирские просёлки» понравились, – сказал я. – Ещё в десятом классе был, в «Роман-газете» читал.

– Так ведь тоже только очерк. Путевые записки. Интересно, конечно. А потом что? Эти «Чёрные доски» собирал, в религию ударился. Я ему: «Володя, это отжившее: вперёд идём, а не назад». Он упёрся: «Нет, Володя, – окает всю жизнь, – надо долг отдать». Прямо как отец Онуфрий, обходя оврагом общественный огород около огромного огурца озрел оголённую Олю». Ты как к церкви?

– Я ещё в школе думал: если Бога нет, так как бороться с тем, чего нет?

– А ты Его спроси, Бога, что ж Он никак нам не помогает? Такой бардак развели.

– Мы же не просим.

– Надо же, – развёл руки Владимир Фёдорович, – ещё и просить. Зачем Он тогда Всеведущий и Всемогущий? А? Нечего сказать?

Владимир Фёдорович встал, потянулся.

– Чего-то я разленился. Статью никак не допишу. О бригадном подряде, аккордной оплате. Да, надо тебе Тейяра де Шардена прочесть: сознание встряхивает. Эволюционер. Эво! Не революция, эволюция! Католик, но они прогрессивней наших, они идут на союз с наукой. А наши консерваторы. Упёрлись в

обряды, язык у них, как был, так и остался. В космос летаем, а там всё: не лепили ны башеть старыми словесы.

– Ярославна плачет в Путивле на городской стене: ветр-ветрило, прилелей моего ладу, – то ли поддержал я учителя, то ли с ним не согласился.

– Поутру плачет, – показал он мне моё плохое знание «Слова о полку Игореве», – не просто так написано. Поутру. С утра плачет. Умели писать.

По дороге к Дому я всё-таки осмелился сказать:

– Владимир Фёдорович, до того мне не хочется думать, что люди от обезьяны произошли. Мне понравилось, я слышал шутку: не люди от обезьяны произошли, а обезьяны – это бывшие люди, которые оскотинились.

– Очень похоже, – засмеялся Владимир Фёдорович. – Жизнь произошла от первичного бульона Вселенной, от живой клетки.

– А живая клетка откуда?

– Всегда была. Читай у Вернадского о единстве живой клетки в космосе.

– Так был или нет день Творения?

– Ну да, был – взрыв во Вселенной, – хладнокровно ответил Владимир Фёдорович. – До сих пор Единое ядро разлетается во все стороны в виде галактик, они как осколки.

Наставник мой не знал сомнений. И мой вопрос: «А взрыв-то кто устроил?» – оказался произнесённым.

СТАРШАЯ ОФИЦИАНТКА

На обеденном столе обычно лежали листочки, на которых мы помечали галочкой название тех блюд, которые желали бы употребить в следующий день. А тут их не оказалось. Я вызвался сходить за ними.

Подошёл к дежурной, которая, склонив голову в белом платке, что-то писала.

– Простите, можно вас попросить, – начал я. Она подняла голову. Я сразу понял, что это она, Соня, которая вернулась из отпуска. Мы встретились взглядами. Что-то неуловимое, будто она меня вспомнила, мелькнуло в её глазах. Да, хороша была эта Соня: тёмно-русая, глаза большие, карие, вся в северную породу русских красавиц.

– Мне листочки, три, для заказов.

Она взяла листочки из папки на столе, легко встала, такая стройная, и протянула их мне. А зачем было вставать? Как она походила на далёкую, ещё доармейскую девушку, с которой мы были дружны, но которая меня из армии не дождалась. И хотя на Соне был платок, закрывавший волосы, я был уверен, что у неё прямой пробор и обязательно косы. Про косы чуть не спросил. Даже качнулся вперёд, но спохватился и виновато улыбнулся. И она улыbnулась:

– Что-то ещё нужно?

– Нет, нет. Я знаю, вы Соня. А как по отчеству?

– Не надо. Надеюсь, ещё до отчества не дожила. Или уже пора?

– Ну что вы.

Вернулся за стол. Наталия Григорьевна что-то заметила.

– Ах, хороша, да? Понравилась? Вижу, вижу, смутились.

– Какой там – смутился? Что за блажь? – недовольно спросил Владимир Фёдорович. – Он работать приехал. Встал в борозду и паши. Смущаться будешь, когда плохо напишешь.

– Тут столько классиков, что... – я махнул рукой. Сел и стал смотреть предлагаемые кушанья на завтра. И блеснул знанием, заодно уводя от начатой темы. – Слово *меню* адмирал Шишков терпеть не мог и предлагал назвать: разблюдаж. Та-ак, завтрак, обед, полдник. Ставим галочки. С такой едой можно и не писать.

В этот день вечером был фильм «Генералы песчаных карьеров» или, в другом переводе, «Капитаны песка». Я почему-то знал, что Соня придёт.

Пришла. Сидела впереди. Да, тёмно-русая, да – с прямым пробором. И не косы, а одна широкая короткая коса. И фильм очень неплохой, и песня пронзительная. Хотя и немного безотрадная: «Судьба решила всё давно за нас».

Чтобы подойти к Соне, мысли не было. Нет, вру, была. Но скрепился: какие мне провожанья, работать приехал. Заставил себя уйти до окончания сеанса. Да и брюки в смоле, и ботинки не чищены. И сам небрит.

А ночью меня пронзила ожившая боль разлуки с той, моей девушкой Вaley, с которой дружил до армии. На которую похожа Соня. И мысль овладела: вот о чём надо написать. Уходит парень в армию, а мы уходили, самое малое, на три года, уходит, провожает его любимая, обещают они ждать друг друга, быть верными. Да это и обещать не надо, это ясно. Он уходит в новую жизнь, а она-то остаётся в прежней. У него всё переворачивается: это же армия! Взросление, возмужание, новые привычки, стремления, друзья. Он становится другим за три года, а она не изменилась. И любит по-прежнему. А он уже другой. Тут трагедия. И он любит, он был верен ей, другой у него нет. Но уже что-то изменилось. Тут мучение. Она сердцем понимает, что у него уже нет той силы любви к ней. Что он, страшно сказать, стал чужой. А он говорит о свадьбе, он честный человек. И не врёт, и готов жениться. Но она, жалея его, отказывает ему. Может даже солгать во спасение, что полюбила другого.

Вот маленькая повесть. Вот её и пиши.

Во все следующие встречи с Соней, а они трижды в день при посещении ресторана Дома творчества были неизбежны, просто раскланивался. Она была, как всегда, приветлива. Чтобы не встречаться с нею взглядом, сел спиной к её столику.

– Не поможет, – засмеялась всё понимающая Наталия Григорьевна.

Почему-то не мог о ней не думать. Но сказал себе так: это оттого, что она своей похожестью на Валу моей юности вызвала к жизни замысел повести. Спасибо ей за это, и до свиданья.

КУКАРАЧКА

В один из дней она отчудила: привела перед обедом в корпус дочку свою, да ещё и ко мне, в мой карцер постучались. Мороженое принесли. Была в белой кофе-распашонке, вышитой красными узорами. Голова не покрыта, волосы

распущены по плечам. Девочка лет четырёх, в платье-пелеринке, белый бант на голове, прямо ангел, сказала:

– Я Оля, а вы?

– А я папа девочки Катечки. Такой, как ты. Такая же принцесса, модница.

– Модница ещё та, – подтвердила Соня и спросила: – Вы же смотрели кино «Генералы песчаных карьеров»? Да? Я в конце вся обрыдалась. Прямо настроение подыспортилось.

– Да, грустный финал.

Сели. Неловко помолчали. Оля потихоньку деревянной щепочкой доставала мороженое из вафельного стаканчика. Соня и я к мороженому не притрунулись.

– Я хотела спросить, – заговорила Соня, – вот о чём. Тут, кто бы ни приехал, все всё всегда: дама с собачкой, дама с собачкой. А я прочла, и что? И это любовь? Она же от мужа уехала, а он от жены. И загуляли тут. Это как?

– Это не ко мне вопрос, к Чехову.

– Его уже за хвост не поймать. А вы как считаете?

– В общем-то я тоже от жены уехал. Хотя бы отдохнёт от меня.

– А вот скажите, – спросила Соня, – почему это жёны писателей все только и жалуются, что им тяжело жить.

– Вообще, конечно, тяжело.

– Почему?

– Женщинам надо, чтоб им постоянно уделяли внимание, а его работа забирает целиком и полностью. Он же непрерывно в работе. Идёт с женой рядом, а сам не с ней.

– Как это?

– Думает над тем, о чём в это время пишет. Вот коротко: рассказ. Не мой. О писателе. Он возвращается домой, видит в прихожей чемодан, думает, как это интересно изменяет пространство прихожей. Жена ему говорит: я от тебя ухожу, жить с тобой невозможно. – Почему, зачем? – Невозможно. Ты эгоист, ты занят только работой, и так далее. Я всегда одна, ты мне всю душу вымотал, в общем, все женские слова.

– Да, это мы можем, – засмеялась Соня.

– Он, этот писатель, слушает и думает: да, да, она права, ей невозможно жить со мной. И был бы, думает он, хороший такой рассказ, как жена писателя от него уходит. Хорошая, красивая, но несчастная. Он весь в своей работе, он ей не принадлежит. Да, надо запомнить, как от волнения её лицо хорошеет, какие неожиданные, ранее от неё не слышанные слова вспыхивают в её монологах. Воспоминания о юности их любви начинают его терзать, какие-то обрывки фраз из задуманного рассказа мелькают в голове. Он думает: я же всё не запомню, надо записать. Хлопает по карманам – нет записной книжки. – Ты не видела мою записную книжку? – Какая тебе записная книжка? Я от тебя ухожу. – Да уходи, уходи, только записную книжку вначале найди. Она садится на чемодан и понимает, что с ним бесполезно говорить: другим он не будет.

– То есть не уйдёт? Не ушла? – спросила Соня заинтересованно.

– Будем надеяться. Она же его не переделает. Ей самой надо подстраивать-

ся. Но это всё-таки о, надеюсь, верной жене. Каких, кстати говоря, немало в жизни. А в литературе все они изменщицы, чем и интересны. В красивом слове адюльтер. Вот эта дама с собачкой, а рангом повыше мадам Бовари, Анна Каренина, – эти бабёнки мужьям рога наставили, и в героини вышли. А Кармен? Из-за неё судьбы ломаются – ей хоть бы что. «Меня не любишь, ну так что ж, так берегись любви моей!» Добилась своего и отшвырнула. Или этот деспотизм: «Если я тебя придумала, стань таким, как я хочу!».

– Вот разошлись, вот разошлись, – весело одобрила Соня мой речитатив и арию. – Не все же такие. Что же тогда, не читать о них?

– Читать, да не подражать. А писатели – самые трудные для женщин мужья. Может, Чехов и не женился оттого, что понимал: мужа из него не получится. Не выходите за писателя, Соня.

– А за кого? Тут только они.

– Собачку заведите и гуляйте с ней по набережной.

– Мне только ещё собачки не хватает. Скажете тоже. Оля, не дёргай за кофту, сейчас пойдём. – Кажется она приняла всерьёз мою шутку. – Я-то никого не обманываю: я разведёнка. – Ой, у вас даже окна нет.

– Да, моря не видно. Приходится с утра к нему бегать.

– А я знаю. Я даже утром вас издали видала.

– Надо же, – только это и смог сказать. Чтобы скрыть смущение, обратился к Оле: – А это не ты нас о марганцовке спрашивала? На бульваре у моря?

– О какой марганцовке? – спросила Соня.

Рассказал о походе в винные подвалы. О вине «Чёрный доктор», о девочке, спросившей нас, не марганцовку ли мы пьём.

– Счастливые вы, в Магарач простые смертные без доступа. А вино это я могу достать. У меня связи – ого-го. Принести?

– Что вы! Я же работать приехал.

– Оля, пойдём, – тут же встала она, – пойдём, не будем дяде мешать.

– А как же песенка? – спросила Оля. – Ты говорила: дяде надо спеть.

– Вот предательница, – засмеялась Соня. – Петь не обязательно.

– Даже очень обязательно, – попросил я. И повинился: – Видите, какой я плохой. Даже и угостить вас нечем.

– Ну что вы, сейчас обед.

– А как же песня?

– Мама, можно? – спросила Оля. Встала и очень умильно, помогая жестами ручек, спела песенку, которая была так проста, что я её запомнил с первого раза:

В одной маленькой избушке жили-были две старушки.

И была у них собачка по названью Кукарачка.

Раз поехали на дачку, захватили Кукарачку.

А в дороге неудачка: заболела Кукарачка.

Повезли её в больничку, стали делать оперичку.

С оперичкой неудачка – сдохла наша Кукарачка.

И финал:

В одной маленькой избушке плачут, плачут две старушки:

Ведь была у них собачка по прозвищу Кукарачка.

– Душераздирающая история, – сказал я. – Целая повесть. Всё есть, и события, и герои: старушки, собачка, доктор, шофёр, кто-то же их вёз на дачу?

– Они в автобусе ехали, – поправила Оля.

– Ещё интересней. Завязка – поехали на дачку, кульминация – болезнь, оперичка, и горький финал. Плачу и рыдаю. Гости приходят, тоже рыдают?

– У нас гостей нет, – заметила Соня.

– Мы её в садике поём, – сказала Оля. – Вам понравилось?

– Замечательно! Стыдно, подарить даже нечего. Я песню запомнил, я её дочке по телефону продиктую.

– Вы правда запомнили?

– Ещё бы: такая история! В одной маленькой избушке... И так далее.

– А как вы память тренируете? – спросила Оля.

– Сама тренируется. Вот твоя песенка: такой день, красивая девочка...

– И мама, – добавила Оля. Она вновь взялась за мороженое.

– Ещё бы! Ну вот, и как не запомнить?

Я как-то ищуще озирал своё убогое помещение.

– Ничего ей дарить не надо, зачем, что вы, – заметила Соня. – Вы так слушали, вот подарок. – И после паузы: – А вы давно начали писать?

– С детства. Стихи писал. Потом хватило ума понять, что уровень невысок. Сценарии строчил, пьесы. Да всё как у всех, обычно. Но пришёл к прозе. А проза – самое трудное, кому хочешь хребет ломает.

– Надо же. А сейчас что-нибудь пишете?

– Пытаюсь. О юношеской любви.

– Как интересно.

– Больше грустно. Он в армию ушёл, а она...

– Не дождалась. Точно?

– Сложнее: он стал другим. Хотя никем не увлекался. Да и где там в армии.

– Ой, и что, что в армии. А вы служили?

– Конечно, как без этого?

– И что, там не было вариантов? Да мужики где хочешь найдут. Это мы, дуры, верим да ждём.

– Это у меня из своей жизни такой случай. Знаете, она похожа на вас. И задумка возникла благодаря вам, когда вас увидел.

– Надо же, – засмеялась она. – Вот куда попала. Покажете потом?

– Тут до показа семь вёрст до небес. Ещё начать да кончить.

Оля выскребла ложечкой вафельный стаканчик, отложила ложечку на край стола, Соня её тут же убрала, и стала, обхватив ладошками стаканчик, как белочка орех, его по кругу обкусывать. Заметила непорядок:

– Мама, у него телевизора нет и ванной нет.

– Ничего, Олечка, живу.

– А где вы умываетесь?

– К морю бегаю.

– Каждый раз?

– Извините за беспокойство. Мы пойдём, – сказала Соня. – Уже у порога, поправляя дочке белый бант, повернулась: – А вы до того похожи на него, это мой парень был, прямо один в один.

– Отец Оли?

– Нет. Хорошо бы!

– Оля! – воскликнул я, – умоляю, возьми мороженое. Я его не люблю.

– Ну, раз не любите. – Соня положила стаканчики обратно в пакет.

– А у меня есть ещё одна бабушка, – сказала на прощание Оля. – Только она далеко. Мамина мама. Только я её не видела.

– Обязательно увидишь, – пообещал я.

Ушли. Не удерживал. А чем бы я мог их занять, угостить? Да и сам такой небритый весь. На брюках след от древесной смолы. Рубаха какая-то рабоче-крестьянская. Ведь есть же запасная. Ну, что теперь.

Подошёл к зеркалу. И куда я рядом с ней такой? И внезапно решил – не бриться до конца срока. И вообще пора носить бороду. Василий Белов с бородой, а моя Вятка с его Вологдой соседи. И дедушки у меня были бородатые ямщики и плотогоны.

Эх, не отпадёт голова – прирастёт борода. Да не отпадёт, сам не теряй.

Но наутро, когда мы прибежали к морю, а оно день ото дня становилось всё холоднее, зрителей приходило всё меньше, наши заплывы становились всё короче, так вот, мне казалось, что Соня где-то близко. И подсматривает за нами. В бинокль. А с ней собачка. Кукарачка. Стих про эту Кукарачку я дочке по телефону пересказал. В тот же день, как они приходили.

Да, Соня. Была в ней женственность, вот что. Это не объяснить, и это есть далеко не во всех женщинах. Женственности не достичь ничем: ни красотой, ни фигурой, ни спортом, ни диетой, это только состояние души. А женственная душа у женщин бывает только у целомудренных. Сказал же Сашок, что Соня ему его мать напомнила. А мне далёкую Валю. Ведь не похожестью лица, а именно этой женственностью.

НУ ХОТЬ СТРЕЛЯЙСЯ

С работой моей так заклинило, какой-то ступор случился. Не успевал начать давно задуманный рассказ, хотя собирался, когда ехал, сесть за повесть, но уже согласен был бы и на рассказ, лишь бы не простаивать, оправдать эту, с небес упавшую, возможность для работы, как тут же настигала мысль: а за чем писать, а кому это нужно? Даже и так было: бегу утром к морю вниз, бегу обратно вверх, в гору, непрестанно думаю о работе. Как учитель наставлял. Взглядываю на него: думает. Даже вроде того, что губами шевелит, что-то проговаривает. И думаю о своей работе, и мне вроде всё ясно: сяду за стол и – поехали. Но не получается такой радости: записанная, вроде продуманная мысль не хочет жить на бумаге. Сохнет, как сорванный листок.

Поневоле бросишь авторучку. А уже видишь рассказ напечатанным, читающимся кем-то, видишь и этого «кем-то», как он зевает, отодвигает книгу, как включает телевизор. А если и не отодвигает, если и дочитает, всё равно же закроет. И что в этого «кем-то» из твоего текста перейдёт? Зачем ему твоё самовыражение? Он утешения чаёт. Ах, меня бы кто утешил.

И так как некому было поплакаться, кроме жены, звонил ей. Часто не бегал

в город, а звонил из вестибюля. Там иногда бывало свободно. А вообще, ожидая очереди к телефону, легко можно было возненавидеть женскую породу. Невольно вспоминалась шутка: женщина говорит подруге: «Вчера мужу доказывала, что я умею молчать. Так доказывала, что голос потеряла». Из кабины в вестибюле долетали расспросы про котов Мусика и Пусика да про собачек. Как они погуляли, хорошо ли едят?

Желание услышать родные голоса возникало именно в минуты близкого отчаяния во время работы. Я жене не жаловался на то, что у меня работа не идёт, вообще не говорил о работе, но всё равно от разговора с ней становилось легче.

Меня жена ревновала к дочке. И вся в меня, и делится не с ней, а со мной секретами. «Папа, мне в нашей группе Миша нравится, он такой самостоятельный». – «А в чём это выражается?» – «Нет, папа, он не выражается». – «Из чего ты вывела, что он такой самостоятельный?» – «Он воспитательницу не слушается». – «Да, это сильный признак мужского характера. А ты ему нравишься?» – «Вполне».

И жену слышал. Она взяла трубку.

– Что это у вас за кукарачка? Страшнее не было имени для собаки?

– О да, запиши. Диктую: Катерине понравилось. – И продиктовал. И вздохнул, выходя из кабины.

И опять пошёл мучиться над безжалостным пространством белых листков.

«ЧЕЛОВЕК Я ИЛИ ТВАРЬ ДРОЖАЩАЯ?»

Такой Достоевский вопрос, который он поручил Раскольникову задать читателям, я гневно задавал себе, сидя на высоких ветвях своей сосны. Только вместо слова *человек* ставил слово *писатель*. И не старуху-процентщицу я собирался убивать, у меня дичь была покрупнее – повесть. Но, как сказала бы моя мама, как на пень наехал – работа не шла. Опять сбежал от стола, опять поднялся к своему месту. И на сосну залез.

Было над чем подумать: срок пребывания стремительно катился к завершению, а сделанного у меня в результате, в активе, в сухом остатке, на выходе, как ни назови, – всё ноль. Только и плодил черновики для растопки костерка.

Но и оправдывал себя: то, что хотел делать здесь, показалось неинтересным, малозначащим. Обилие собиравшихся в обеденном или зрительном зале пишущих людей угнетало. Ведь все думают, что пишут нетленки, иначе зачем же и писать? И где будут те, ещё не изданные их книги? А книги обязательно будут. Тут же все члены Союза писателей. И я скоро вступлю. Так, по крайней мере, мне предсказывали рецензенты и издатели. Тот же Тендряков. Разве бы он, при его требовательности, написал бы предисловие к слабой рукописи? Ну стану одним из этих многочисленных, дадут мне номер с окнами, с верандой, с видом на море и на горы. И что?

А уже с самого детства я не писать не мог. Всю жизнь меня постоянно тянуло сесть за стол. С другой стороны, когда, как писали раньше, вошёл в меру возраста, стала мучить убийственная мысль: ну напишу, ну и что? Но другие-то

как, размышлял я. Вот бы мне такое сомнение, как у критика Вени. Да нет, это слишком. Но и комплексовать без передышки тоже глупо. Дана тебе способность слова в строки складывать, складывай. Но дано и умение эти строчки зачёркивать. Ну и зачёркивай, и опять складывай. Сизиф отдыхает.

И что дальше? Сказал же Владимир Фёдорович, предисловие написав: «Смотри, дальше будет труднее. Сказал «а», говори и «бэ», и весь алфавит. Первая книга окрыляет, но она и обязывает. Её надо скорее забыть». Ему легко говорить. Она у меня ещё и не выходила, а уже надо её забыть. Весело. А сейчас у меня вообще всё затёрло. Ни бэ, ни мэ, ни кукареку.

А всё Соня, сваливал я вину на неё. Сглазила. Сам виноват, зачем сказал ей о планах. Этого никогда не надо делать. Как у Суворова: «Если б моя шляпа знала мои планы, я бы бросил её в печь».

Не пишется – и всё! И без толку бумагами шуршать. Хоть топись. И перед Владимиром Фёдоровичем стыдно. А что делать? Запить? Поехать на экскурсию в Горный Крым или к Бахчисарайскому фонтану? А взять да вообще по «юбке», как прозвали южный берег Крыма, ЮБК, прокатиться на остатки денег? Чего тут-то сидеть? Переживать за поражения Серёги в биллиарде? Слушать нотации Вени-критика?

И мне то казалось, что я зря приехал, то – что очень даже не зря. Какая-то работа свершалась во мне, что-то сдвигалось в сознании. Этому очень даже помогал

МУЖСКОЙ КЛУБ

Время в Доме измерялось едой: трёхразовое питание. Плюс полдник, плюс кефир перед сном. В это время пространство между спальным и обеденным корпусами оживало. Завтрак, обед проходили обычно. Входили и выходили. А перед ужином передвижение застревало у крыльца ресторана. Тут в это время, так сказать, стоя заседал такой временный мужской клуб. Может, и оттого он и формировался, что дамы шли на ужин причёсанные и в нарядах. Было на что посмотреть.

Но если утром мужской клуб был малочисленный по количеству и краткий по времени, то вечерний был и продолжительней, и понаселённей. Утренний был до еды, вечерний перед едой. Нарастивали аппетит, упражнялись в остроумии. Много чего я тут наслушался. Было что послушать: цитаты, выражения, возражения, случаи из жизни сыпались изобильно. Писатели. Знай запоминай.

– Меня бы жена дома так кормила... – начинал один.

– Ты бы и писать перестал, – поддевал другой.

– Нет, – поправлял другой, – к бабам бы побежал.

Третий тоже не отставал:

– Товарищи, хлебайте щи, а мясо съели служащи. – И добавлял на грани крамольного: – Пролетарии всех стран, соединяйтесь, ешьте хлеба по сту грамм, не стесняйтесь. А знаете, как лозунг этот на украинском?

– Знаем.

– Как?

– Голодранци усих краин, гоп до кучи!

Подходил ещё один обитатель Дома и вопрошал:

– Так зачем, скажи мне, Петя, если так живёт народ, по долинам и по взгорьям шла дивизия вперёд?

– Ну, это, как всегда, взгляд и нечто, – парировал пародист Петя.

Подходил ещё один:

– А с Брежневым согласовали разговоры? Маршал Жуков докладывает Сталину план новой операции. Тот спрашивает: А полковник Брежнев утвердил?

– У нас начались новые традиции во власти, – солидно вступал предыдущий. – Вновь приходящий во власть гадит на предыдущего, и так далее. Вновь пришедшему начинают создавать культ...

– Мы же и создаём. Писаки.

– Кто? Конкретно? Признавайтесь.

– Нет, ребята, – на писак всё не валите: они слушают мнение народное. Народ Лёне верит. Никиту при его жизни ни во что не ставили. Я делал обзор писем в «Сельской жизни», сейчас много писем в его поддержку. Стихи даже народ пишет: «Товарищ Брежнев, дорогой, позволь обнять тебя рукой».

Мужской клуб оживился. Говорящий продолжал:

– Тут не смех в зале, тут пища для раздумья. И ещё немного лирики. Кошка охотится за воробьём, «но он вспорхнул и улетел, остались пёрышки на ветке. Он тоже, тоже жить хотел под ясным солнцем пятилетки».

– Никиту вспомнили, – вскинулся седой мужчина. У него под рубашку была надета тельняшка. – Уж как только не надрывался, чтоб Сталина с дерьмом смешать, не получилось. Меня позвали...

– Как не получилось? Уже и битва Волгоградская. А в Париже площадь Сталинград. Европа нас умнее. А ты чего хотел сказать?

– На ужин пора, – голос из толпы.

– Твоё не съедят. Дай послушать. Пётр Николаевич, слушаем, продолжайте.

– Слушаюсь. Меня позвали выступать перед воинами. Обсуждение книги «Десант на Эльтигене». Тоже, кстати, Крым. Прошло хорошо. Потом, как водится, бешбармак. В офицерской столовой. Сидим. Взаимопонимание полное. Никиту ругаем: корабли на металлолом резали, офицеров во цвете лет гнал в запас. Тосты говорим.

– Не тосты, здравицы, – поправил кто-то.

– Да, лучше. По-русски. Я встал: «Отделением сержант командует, взводом лейтенант, ротой капитан, батальоном майор, полком полковник, соединением, дивизией генерал, фронтом маршал. Сделал паузу. Все ждут, чего скажу. А кто, говорю, маршалами командовал? Должен же быть Верховный командующий? Должен! Вы же военные люди. Предлагаю встать и выпить за Верховного! Сталина не назвал, но все поняли. Встали и выпили.

– Воякам лишь бы выпить, – находилось и такое мнение. Но его урезонивали:

– Не скажи.

Подходил опаздывающий. Петя-пародист приветствовал:

– Ты чего такой печальный? А, понимаю. Достоевский умер, Толстой умер,

и тебе что-то нездоровится. Правильно говорю? Тебя ещё Арий не измерял?

Про Ария мне потом Сергей объяснил. В Московском отделении Союза писателей, а это самое малое полторы тысячи членов, был специальный человек, которого главное дело было заниматься похоронами. Ведь писатели тоже люди и тоже умирают. Так вот этот Арий просто членам Союза ничего не обещал. То есть материальная помощь будет, и гроб помогут заказать, но остальное: венки, кладбище, прощание – дело наследников. А если вы уже член правления, то гроб выставляют в вестибюле, тут уже и вахта с траурными повязками у гроба, а если вы секретарь правления, то гроб будет стоять в Малом зале. С музыкой и речами. А если уже секретарь Большого Союза, то есть всего СССР, тогда прощание в Большом зале. Тоже речи, тоже почётный караул. И процедура по времени подольше. И кладбища занимали по ранжиру. На Новодевичье могли претендовать Гертруды, но оно же не резиновое, да уже и Ваганьковское становилось проблематичным, ибо созревание и умирание знаменитостей не останавливалось. Престижные мемориалы становились перегруженными, но пришло на подмогу Ново-Ново-Девичье, названное так Кунцевское. Этот Арий забавлял пишущий народ: подходил к писателю и начинал его измерять, начиная с головы, растопыренными пальцами, объясняя при этом, что надо заранее снять мерку для заказа гроба, что у него мера – расстояние от среднего до большого пальца – точная: двадцать сантиметров.

Также прочитанная свежая «Литгазета» вызывала прения своим разделом о награждениях, премиях, званиях. Члены клуба имели на всё своё мнение: кому-то звание дали рановато, кому-то запоздали, кого-то вообще обошли, а кого-то вообще ни за что завалили и металлом, и премиями. Особенно не щадили пишущих женщин. Все их награды и успехи объясняли однозначно:

– Переспала, вот и весь секрет.

– Кто как может. Вон, у Кожина исследование о «нобелевке». Читайте: там поэтесса, забыл фамилию, да и знать не надо: со всеми почти членами Комитета поамурничала – и пожалуйста. Всех значительных в 20-м веке обошли, может, Бунину только, да Шолохову за дело.

– Бунин эмигрант политический, а Шолохову дать премию вынудили: уже наши ракеты на Кубе стояли, Громько поспособствовал. И диссидента Пастернака за диссидентство отметили. Толстому не дали...

– Он сам отказался.

– А Чингиз всех членов Комитета на отдых вывозил, надеялся, да что-то не выплясалось.

– А сколько эта премия? В долларах она?

– Какая тебе разница, тебе же не дадут.

– Интересно же.

– Ничуть. Вот премия была – братьев Гонкуров. Сколько её денежное содержание?

– Два франка, – находился знающий.

– Молодец! Возьми с полки пирожок. Два франка. А получить её было самой заветной мечтой всех пишущих и рифмующих.

– Французов. Анри Барбюс не хуже Ремарка о Первой мировой написал, дали по справедливости.

– Народ! Только что прочёл, что Диме Шутову дали на пятьдесят лет орден Трудового Красного Знамени, а хватило бы ему «Весёлых ребят», так в просторечии называли орден «Знак Почёта». Или даже знака «Трудовое отличие». То-то он всё последнее время на Воровского в правление бегал.

– Ему даже знака «Победителю соцсоревнования», и то много.

– Вообще ничего не давать!

– Ну, старик, это жестоко: все штаны, в Большой дом бегаючи, изорвал, одни пиджаки остались, хоть их украсить.

– А я вам новость скажу – всех утешит. Сейчас же введён «Знак качества» на продукцию...

– Да этот знак везде шлёпают, только на капусту не ставят: расплывётся.

– Не перебивай, не капусту выращиваем. Такой знак будут ставить на наших книгах. Знак качества и штамп: «Сделано в Ялте». Как такую книгу не купить?

– Отштампованную? Читателей не обманешь.

– Их уже двести лет обманывают.

– Какао не обманет, но стынет! – звучала в ответ шутка.

Нагулявши, наговоривши аппетит, шли на ужин.

ДРУГИЕ ТЕМЫ

В другой раз вспыхнула интересная тема: выразительные цитаты из классиков. Тут я тоже немного поучаствовал. Уже перестал стесняться тем, что я вроде как не по чину живу тут, ещё не член союза. Но Сергей и Веня почти насильно втащили меня в круг общения. «Чего тебе стесняться: пишешь, в издательстве работаешь».

После своеобразного состязания в знаниях текстов одобрили несколько фраз. Из Набокова, из «Приглашения на казнь»: «Маятник отрубал головы секундам», из Булгакова, из «Дней Турбиных». Там выпивший Лариосик любит в застолье офицером: «Как это вы так ловко рюмку опрокидываете?». Тот отвечает: «Достигается упражнением». Я вступил в беседу, сказав, что слышал, как Астафьев, знающий наизусть «Конька-горбунка», очень восхищается строчкой «как, к числу других затей, спас он тридцать кораблей». «К числу других затей» – здорово? Все одобрили. Осмелев, я ещё и Солоухина вспомнил. Он очень высоко ставил «Мастера и Маргариту», место, где бесенята Коровьев и Бегемот даром раздают женщинам модную одежду и обувь. «Вот одна примеряет туфли и спрашивает: «А они не будут жать?». Даром достались, ещё и жать!

– О, а у Чехова, помните, пишущая баба пришла, её ещё Раневская сыграла. Она читает писателю свою пьесу, там вот эта ремарка меня восхищает: «В глубине сцены поселяне и поселянки носят пожитки в кабаки». А? Сумеете?

– А вне конкуренции знаете какие изречения? – спрашивал высокий седой мужчина. Теперь я уже знал, что он Пётр Николаевич. Но из-за тельняшки, которая была надета под рубашку, я стал про себя звать его мореманом: – Самые крепкие изречения – это народные. Пословицы, поговорки. Даже и частушки.

Вот это народная или нашим братом сочинённая: «Подрастает год от году сила молодецкая. По всему земному шару будет власть советская?»

Решили, что всё-таки сочинённая. Про советскую власть в мировом масштабе большевики бредили, а после революции поостыли. Мореман продолжил:

– Но вот эта точно народная: «Спасибо партии родной за любовь и ласку: отобрали выходной, оскорбили Пасху». Не оскорбили, в подлиннике крепче.

– Да, в народе вспыхивает реакция мгновенная на события. В пятьдесят третьем летом шли с сенокоса, встретился мужчина, говорит: Берию арестовали. Как, что? Не верится. А он говорит: уже вовсю частушка пошла: «Что наделал Берия, вышел из доверия. А товарищ Маленков надавал ему пинков».

– Ну да, хлётко. А вот эта почище: на смерть Ворошилова. Полководец дутый, около Сталина и Будённого тёрся, ворошиловский стрелок. Указы расстрельные подписывал на многие тысячи по спискам. Печатают о нём некролог, в народе тут же: «Умер Клим, да и хрен с ним». Он с Украины.

– Наконец-то о народе вспомнили, – ехидно вставил опять-таки кто-то.

– Да, точно: вышли мы все из народа, как нам вернуться в него?

– Именно так. Но мы-то имеем все шансы вернуться, а в начальстве кто? Не кагал, не клан, а шобла.

– Ну-ну, потише. Пить надо меньше.

– Друзья-товарищи, а что мы Александра Сергеевича, не Пушкина, но тоже великого, да-с, Грибоедова, не цитируем? «Петрушка, вечно ты с обновкой, с разорванным локтём». Видно всё сразу. Потом и сама Лиза: «Лишь я одна любви до смерти трушу. А как не полюбить буфетчика Петрушу?». Именно этого. А Лизу Молчалин лапал. Но ей Петруша милее. «Хоть Ивана вы хитрее, но Иван-то вас честнее». Опять Конёк-горбунок вывозит.

За время срока, конечно, невольно многих запомнил: Серёга, критик Веня, другой критик, имя не запомнил, Петя-пародист, Яша-драмодел, писатель этот мореман, Пётр Николаевич. Ещё автор уголовных историй Елизар. Да Сашок, сантехник.

– А у Шмелёва, – напористо завоёвывал внимание Веня, – как это можно его не издавать? Возвращаю к теме цитат из классиков. У него Сидор на водокачке говорит лошади: «Вот так ты походишь, походишь по кругу, а вся тебе награда: пойдёшь на живодёрку. Такая тебе планида судьбы». Планида судьбы. Умели классики.

– Да и мы умеем! – опять выставлялся коротенький лысый пародист Петя. За ним, кстати, бегали поэты, прося написать на них пародию. Этим тоже достигать известности. Ещё был в фаворе длинный пародист Иванов, но его в этом заезде не было. Знакомством с ним – вот времена и нравы – хвалились. А коротенький, в отсутствии конкурента, выставлялся в мужском клубе новыми своими пародиями. На писателей, на, конечно, отсутствующих. Одну я запомнил: «Юный прозаик по имени Петя книгами сыпал, в классики метя. Музу ему подложили в кровать. Незачем больше Пете писать». Но это не о тебе, Петя, адресовался он к писателю из Воронежа, тут же стоящему. Это тот, – он показывал пальцем вверх, намекая на свою смелость.

Выслушав её, я тут же сам на себя сочинил самокритичную: «Юный про-

заик по имени Вова пишет в последнее время хреново. И вообще перестал он писать. Незачем музу к нему посылать». Незачем или не за что, не всё ли равно.

Этот Петя-пародист до Иванова-пародиста не дотягивал, ревновал к нему и старался каждый раз себя показать.

– О Шиллере, о Гёте, о любви? Таких ты разговоров не зови. Друзья мои, ведь дело наше – швах: долдоним только о деньгах да тиражах.

Прав Петя: и тиражи обсуждали – одинарный или массовый. Первой книге обычно давали тираж тридцать тысяч. За авторский лист сто пятьдесят рублей. Полуторный тираж – пятьдесят тысяч, здесь авторский лист (двадцать четыре машинописных страницы) триста рублей; массовый, с двойной оплатой, начинался со ста тысяч, то есть шестьсот рублей за лист. Считайте сами: если книга листов двадцать самое малое, то при массовом тираже автор получает двенадцать тысяч. Если учесть, что машина «Волга» стоила восемь, то жить писателям было очень даже можно.

В клубе были популярны пародии Михаила Дудина, например, о Мариэтте Шагинян: «Железная старуха – Маргоша Шагинян, искусственное ухо рабочих и крестьян».

Запомнилась ещё шутка: «Мы на переподготовке были после второго курса. Там майор был, вояка, гонял нас. Выстроит, кричит: «Кто из вас за родину воевать будет? Пушкин? Убит! Лермонтов? Убит! Я? Отвоевался».

Ещё внезапно вспыхивал всегдашний спор новаторов и консерваторов.

– Прогресс двигают консерваторы!

– С чего ты вдруг?

– Да потому что достали эти выдрючивания, завихрения, всё же было сто раз: дыр-был-щур, вся эта экзерсистика-маньеристика-верлибристика.

– Чего ты? Если им интересно, пусть.

– Но зачем? Будто солнце иначе встаёт, или человек форму тела изменил, или деревья вверх корнями растут. От Сотворения мира всё по-прежнему.

– Плюнь: повыщёлкаваются, повыкобениваются и перестанут.

– Кто и засидится. И жизнь у дурака зря пройдёт.

Но вообще при всей разногласии мужской клуб встряхивал, думать заставлял, даже смелеть. Хотя я всегда – это от мамы и отца – считал, что надо говорить правду. Какая же смелость, если ты говоришь правду? Это нормально.

Не критик Веня, а другой критик, а как другого зовут, не помню, неважно, вдруг завладевал вниманием:

– Ремесленники, рабы тщеславия! Слушайте сюда. Литература гибнет – это аксиома, не требующая доказательств. Как её спасти? Я коротко, конспективно, тезисно. По примеру христианской идеологии: человеку мешают три эс: Сребролюбие, Славолюбие, Слостолубие, а писателям мешают три ПРЕ. Их надо убрать из писательской жизни, эти три ПРЕ. Что такое ПРЕ? ПРЕпятствия. Вот они: ликвидировать ПРЕдисловия, ПРЕзентации, ПРЕмии. Всё! Литература спасена! Предисловие оставить в виде авторского кредо к первой книге, с чем писатель входит в мир словесности, его взгляды на жизнь, его саморекомендация, а презентация – вообще позорное слово, есть же русское – смотрины. Что презентовать, если ещё не прочитано? Пьянка одна. Вонзание

штопора в упругость пробки? Премии – вообще гибель. Кому дали, кому не дали, всегда дали не тому. То лизоблюд, то хам, то угодил в тему. Но помощь писателям нужна, особенно старикам и молодым. Не премия – подачка, а помощь! Нужны писатели – стипендиаты заводов, колхозов, фабрик.

– Ну, ты хватанул! Романтики пера эт цетера, очнуться вам давно пора, – поддел пародист Петя. – У нас, подумай головой, кто в нашем деле рулевой?

Но не вышло у Пети перебить критика

– Именно рулевой, спасибо, подсуфлёрил. Евгений Носов – вот прозаик! Из Курска. И всё был неизвестен. А напечатала у него «Комсомолка» очерк «Жили у бабуси два весёлых гуся», и случайно прочёл лично наш дорогой Леонид Ильич, и похвалил – Боже мой, что началось! Как кинулись шестёрки-журналюги, да и наш цех, литкритиков, прямо скажу, не отставал, целый хор раздался голосов с подголосками: велик и недосыгаем курский соловей Евгений Носов! Не прозу его хвалили – очерк! Вдумайтесь в моральный облик тех, кто делает погоду на литрынке.

– У них морали нет! Тем более облика.

– Но что же мы скажем в ответ: таких среди нас здесь нет. – Это, конечно, Петя-пародист. Он знал, что запоминают не первых, не средних, а последних.

КРЫМ НЕ НАШ

Также проблема Крыма умы задевала. Совсем недавно Крым стал частью Украины. Громогласный мореман очень возмущался. Он говорил:

– С чего вдруг Никита раздобрился? Лёня бы не отдал. Где вы тут радяньску мову слышите? Или суржик, или русский язык. А везде надписи по-украински. Какая зупинка? Чем плохо остановка? И эти женочи та человекчи, чохи та панчохи. Одежда – одяг.

– Да им хоть как, лишь бы не по-москальски.

– Это не сейчас началось. Ещё при Алексее Михайловиче такая присказенька была: «Мамо, мамо, бис у хату лизе. – Нехай, дочка. Абы не москаль». То есть пусть хоть нечистая сила, лишь бы не москаль.

Тут и я отметил:

– Служил с украинцами. Парни службистые. Ещё на первом году надо мной посмеялись: «Эх ты, москаль, не можешь слово паляныця сказать!» – А я думаю: надо же – всё вятский был, а тут уже москаль, в звании повысили.

– Вообще, у них жена – жинка – это неплохо, – одобрял непрременный участник клуба Сергей. – Нежненько. А муж вообще: чоловик! А жена, знаете как? Это прямо крепость для мужа: жена у них – дружина.

– А у нас дубина, – сердито говорил романист детективного жанра Елизар. – Вот моя: делать ей совершенно нечего, как только за мной следить.

Все ему сочувствовали.

Скоро я понял, почему Сергей стал одобрять украинский язык. У него в эти дни происходили два текущих события: одно невеселое – драматург Яша его общёлкивал на биллиарде, денежки вытягивал. А Сергей из самолюбия не хотел сдаваться. Но второе его воодушевляло: приехала сравнительно молодая

поэтесса из Москвы. Очень сравнительно. Но москвичка. Бывшая киевлянка. Серёга за ней приударил. Докладывал:

– С квартирой. Дача. Муж в годах.

– Но ты-то тут при чём?

– Разведу. Я чувствую, у неё с ним нелады. Она неглубоко замужем. Какой-то, чувствую, чинуша. Ей понимающий нужен. А это я умею. Он, видимо, дуб-дубарём, она-то вполне. Она полквартиры отсудит, нам на первое время хватит. Я её третий день окучиваю. Уже на бульваре посидели, она даже мне и спела «Мисяц низенько, вечер близенько».

– Надейся, надейся, твоё сердэнько? – не удержался я поддеть. – Чоловиком станешь.

– Не надеюсь, а твёрдо уверен, – отвечал Сергей. – Хохлушки – это не хохлы. Те упёртые как быки, а хохлушки – это, это... Это что-то такое нечто. Я тебя познакомлю. Она рыжая, яркая шатенка, но не крашенная, такая и есть. И вот ещё что, только тебе: тебе нравится Ялта?

– Да уж больно она залитературена да закиношена. А так, конечно. Море.

– Море, да. Так вот. Ганна, она сейчас уже Жанна, от Ялты без ума. У неё и с мужем нестроение в этом. Она о доме в Ялте мечтает, а он ни в какую. А я за эту ниточку уцепился. Но тут деньга нужна серьёзная. Не прежнее время. Чехов пишет жене: «Дорогая, боялся, что не на что ехать к морю, но Суворин взял два рассказа, и лето обеспечено». На твой гонорар с рассказа хватит только на раз с парнями посидеть. Да и то не ресторан, а пивная. Это ещё что! Живёт он в Ялте, здесь ему нравится. Но неохота на съёмной жить. Пишет жене: давай купим. На следующий день, это всё в одном письме, пишет: купил. В том же письме к вечеру, пишет: после обеда я подумал, что купленный дом далековато от моря, и купил ещё один, поближе. А дальше, слушай, дальше следующий день. В том же письме: дорогая, я окончательно решил, что дом надо строить свой. Поэтому сегодня я купил участок земли. Всё это я у Залыгина прочитал, он хорошо о Чехове написал. Где нам такие гонорары взять?

– Премию дадут.

– Дадут. Догонят, да ещё поддадут. Премии, дружок, без нас делят.

ГРОМКАЯ ЧИТКА БЛИЗИТСЯ

Дежурная в корпусе сказала, что меня искали.

– Владимир Фёдорович?

– Нет, от Ионы Марковича.

И в самом деле, вскоре постучался молодой человек, очень приличный, вида референта при большом начальнике. Даже в костюме, даже при галстуке. Представился секретарём Ивана Ивановича.

– Вы знаете, что вы приглашены к нему?

– Да, он звал.

– Встречу переносили по независящим от него причинам.

– Да, в винные подвалы ходили.

– Встреча, он просил напомнить, будет завтра. В семнадцать ноль-ноль. Ужин будет в номере Ионы Марковича.

Ещё меня навестил Сашок. Он пришёл с бутылкой. Он ко мне и без меня заходил, я номер не закрывал. Часто его сумка с инструментами ночевала у меня. Он пришёл, спросил разрешения присесть. Тем более я и не за столом сидел, а лежал на диване.

– Плесни и мне, – неожиданно даже для себя сказал я. – Три капли. Тиши кропли, как гуторят паны поляки.

– Ого! – обрадовался Сашок. – Броня крепка, и танки наши быстры!

Я подвинулся к столу, взял стакан:

– И наши люди мужеством полны. Саш, скажи честно, только не привирай: ты тогда про Соню выдумал?

– Что именно?

– Что она такая вся из себя: в ресторане с кем-то сидит, и так далее? Только не врать! А то очную ставку устрою.

Сашок смущённо хмыкнул, покрутил стакан, раскрутил водку в стакане и заглотил её. Объяснил:

– Так она легче идёт. Эх! Один татарин в два шеренга становись!

– Ты про Соню, про Соню. Закуси.

– Хорошо, признаюсь. Конечно, не такая. Это я тебе как мужик мужику говорю, не такая. Я же тебе уже и говорил: она на все сто. Ни в какие рестораны не ходит. Честно скажу: вначале хотел с ней время провести, думал, всё получится. Здоровается, улыбается. Вообще-то я парень селянский, скромный. Но тут, в этом доме, на них нагяделся. А-а. Думаю, значит, и мне можно. А Соня такая манкая...

– Какая, какая?

– Заманчивая. Как взглянет! Пошутит два-три раза. То, сё. У меня же тут все условия. Выбрал момент, кран у них на кухне менял. Она там. Тонко намекаю ей на толстые обстоятельства. Приобнял так игриво. А она: я тебе сейчас по морде надаю. Да так сказала, я понял: надаёт. Да так взглянула! Ну, брат. И вся любовь. Мне так обидно стало: за мужика не считает. Вот с обиды тебе и сказал. Ерунду наговорил, никуда она не ходит. А ты чего сидишь, как красная девица, подымай. За тех, кто в горе. – Он, так и не закусив, снова взял бутылку за горло. – А честно сказать, она и права. Мы ведь как о них думаем? Такие и сякие, думаем. Чего не пьёшь? Жена у меня никакая, любви у нас не было. Откуда взяться: по пьянке женили. В постель как на каторгу шёл. Так мне и надо. А ты чего спрашиваешь, на Соню запал? Понравилась? Займись.

– У меня жена со мной венчанная. Работать приехал. А работа не идёт.

– Пойдёт, – уверил Сашок. – Сегодня в подвале сочленение в системе отопления менял. Вмёртвую всё заржавело, слезится, подтекает. Надо было шесть огромных гаек, им лет по пятьдесят, метрическая резьба, свинтить. Думал, не смогу. Полдня корячился. Свинтил. И ты свинтишь.

Он налил было ещё, но, подумав, слил водку обратно.

– Соня. За такую Соню я и помереть был бы рад. Мгновенно бы от всех других отскочил, только бы с ней! Ох, она так на мою маму похожа.

– Ну и объяснись. Так и так скажи: прости, по дурусти руки протянул. Да, с ней и речи нет о лёгких отношениях. Только семья!

– По-оздно, – протянул Сашок. – Да и слава обо мне не первого сорта. Иной раз притворюсь, что что-то на кухне или в зале надо, зайду, чтоб только на неё взглянуть. Стыдно же! Она ничего, здороваётся. Но как со всеми. Как со всеми, понял?

– Понял. А тебе надо, чтоб именно с тобой?

– Именно!

Что я ему мог посоветовать? Тут к нам забрёл критик Веня. Он тоже со мной особо не церемонился, заходил и раньше. Опекал меня. Взял то есть шефство. Учил жить. Говорил обычно: «Старичок, врубись! Идёт борьба! Становись в строй! Нужны активные штыки!». Я протянул ему свой стакан. Он не чинился.

– Завтра к Ионе Марковичу? К небожителям? Я тоже.

– Но ты-то ему нужен: воспоёшь его шедевр. А меня он из-за Тендрякова позвал. Рядом стояли. Мне и идти-то неохота.

– Ну как же, даже из спортивного интереса: такой ареопаг собирается. Секретари СП СССР, сплошь лауреатство. Олимп! Повелители умов! Плесни ещё, Сашка!

– Мы идём слушать новое произведение, – объяснил я Саше.

– А которому жена пить не даёт, пойдёт? – спросил Сашок. – Про милицию пишет.

– А, – понял Веня, – уверен, что зван. Знаменитость. У него и фильмы, и однотомники. Это же элементарная литература, детективщина, чтиво. Он на Петровке свой человек. Его снабжают делами из архива. Выбирает, что поинтереснее, и переводит в роман. Фамилии меняет. А как не даёт пить?

– Да он здесь каждую осень, это у нас все знают, – объяснил Сашок. – Если не напишет, пить не получит. Она его запирает и уходит. Он потом отчитывается. Она выдаёт бутылку. Он вроде того, что Ерофей Иванович или Елизар какой. Можно у дежурной посмотреть.

– У меня спросите. Конечно, Елизар Ипполитович. Точно так с выпивкой было у Мамина-Сибиряка, – поделился Веня знанием истории русской литературы. – Читал, Сашка, «Зимовье на Студёной»?

– Ещё в школе.

– Молодец! Не пропал для вечности, – похвалил его Веня. – Ну, ты, – это уже ко мне, – осваиваешься? Наладил связи? Ты издатель, тебе легче. Не ты должен просить кого-то о чём-то, а тебя. Чего ты боком ходишь? Зачем тогда в Дом творчества ездить?

– Веня, я так не умею. Я тут многих вообще не знаю. Только которые мелькают по журналам и книгам, по фотографиям. Да и зачем знать? – рассудил я. – Это как наш знаменитый Егор Исаев: «Я могу кого-то не знать, но знаю, что меня знают». А мне ещё легче: и я не знаю, и меня не знают.

– Обожди, пока не забыл, про Елизара, – перебил Веня, – тут уже я, как радетель русской словесности, имею мнение, – Веня снова глотнул. – Елизар единственно чем молодец, в чём его поддерживаю, я даже с ним вчера тайком от его жены выпил, в чём одобряю: он у детективщиков хлеб отбирает. Несть им числа, заполонили все книжные полки. Прямо братство Вайнеров. Мусор

создают, мусор сеют в головах, губят время, понижают вкус. У Елизара, по крайней мере, очистка страны от мусора.

– Милиционеров мусорами называют, – вспомнил Сашок.

– А что ты Егора вспомнил, – повернулся ко мне Веня, – это точное попадание: Егор – орёл. Он наш человек: за молодых буром прёт. Я его высказывание люблю: «В литературе, милый мой, чем дальше, тем ближе». Непонятно, но здорово.

– Тогда получается: чем ближе, тем дальше? – спросил Сашок.

– У Твардовского «За далью даль», – напомнил я.

– Конъюнктурная поэма, – сурово отрезал критик Веня.

– А посещение лагерей?

– После двадцатого съезда разрешённая тема.

Веня на всё имел критические замечания. Был в прелестной уверенности, что руководит литпроцессом. «Критики – топливо для писателя». Я же считал, что топливо для писателя – внимание читателей. Зачем и критики, когда оно есть? А критики только тем и занимаются, что сводят счёты друг с другом. Правильнее сказать: враг с врагом.

ОПЯТЬ ЧИТКУ ПЕРЕНЕСЛИ

Самое смешное, что секретарь южного классика опять постучался. Весь такой чёткий, рафинированный в моём карцере очень живописно смотрелся. Видимо, его удивляло, как это его всеильный шеф зовёт в высокое собрание человека из номера, в котором нет окна. Даже не присел.

– Вынужден огорчить. Иона Маркович извиняется, что переносим. Но мы, простите, не учли, что это будет седьмое ноября. Тогда на восьмое. Пожалуйста, пометьте в календаре.

– Так запомню, – обещал я.

Утром на другой день на берегу Владимир Фёдорович высказался:

– Тянет, важности нагоняет. Чего было тогда не прочесть?

– Владимир Фёдорович, а хорошо бы и вам прочесть хотя бы отрывок.

– Да я-то бы прочёл, да Наташа не разрешит.

– Ничего себе. Почему?

– А где мы приготовим на такую ораву вина и закуски? Это, брат ты мой, южный классик. Они в республиках всё в кулаке держат. Там перед ними ихние Минкульты на цырлах. Он же и депутат, и вообще многочлен. Эту повесть ещё и не видел никто, а я уже знаю, что её напечатают. И там на двух языках, и в Москве в журнале, потом и в «Роман-газете», потом в отдельной книге, потом будет театральная постановка, потом сценарий для фильма и сам фильм. Нам с ними не тягаться. Ты кого-нибудь переводил?

– Начинаю, – признался я, – Бориса Укачина с Алтая.

– Но хоть хороший?

Очень! – искренне сказал я. – Подстрочник он сам делал. Я начитался их эпосом, чтобы войти в обычаи, в ритмику языка. Это о детстве его. Голод у них какой был, сусликов ели. Всё, как у нас, кроме сусликов. Картошку прошлогод-

нюю ходили сразу после снега искать. Оладьи из неё пекли. Конечно, взялся я за перевод, честно говоря, из-за денег.

– Ещё бы даром. Но ты же не будешь славить достижения партии и правительства. А то сплошь спекуляции, славословия путям, указанным дорогой партией. А этот Ваня уже своего переводчика и редактора сюда высвистнул.

– Такой, в галстук?

– Он. Ну что, двинулись!

СЕМЬ СОРОК В ЧЕСТЬ РЕВОЛЮЦИИ

Накатило седьмое ноября. Годовщина Октябрьской революции.

– Почему не ноябрьской? – вопрошали пытливые умы мужского клуба. – Ведь «сегодня рано, послезавтра поздно» провозглашено по старому стилю. А старый стиль большевики похерили, должны были и переворот назвать ноябрьским.

– А тебе не всё равно, когда выпить? – поддевали остряки.

– Может, и всё равно, но когда подкладка теории, то оно как-то спокойней.

Никакого торжественного собрания или митинга в Доме творчества не было. Но красные флаги были вывешены и на главном корпусе, и на обеденном. Ходившие в город говорили, что там была демонстрация. Мы поняли: услышали пальбу и увидели россыпи салюта на фоне моря.

Сидеть над бумагами было бесполезно. Звонил домой. Жаловался, что работа не идёт. Жена задала совершенно логичный вопрос: «А зачем поехал?». Сказала, что звонили из издательства: можно получить деньги за рецензии. Так что хоть это как-то оправдывало моё пребывание. Ведь я написал их в первые три дня, послал. Кажется, как всё это было давно. И этот Дом, и десятки раз топтанная по утрам дорога к морю, и само море. Но море не только не надоело, оно всё время тянуло. От утреннего погружения, каждый раз с невольным содроганием, до вечерней прогулки. На которую старался пойти один. Да в общем-то особо никто и не стремился гулять: холодно.

На громкую читку совсем не хотелось. Никакого интереса к знаменитостям я не испытывал. Всегда сторонился знаменитых, а также денежных. Почему, не знаю. Со знаменитостями будешь в их службе, с денежными будут думать – пристаёшь из-за денег.

Торжественный ужин был начат раньше на час. Потому что приехали заказанные Литфондом артисты и прибыл оркестр.

Ужины здесь и без праздников всегда был приличные, а тут на столы выставлялось такое обилие блюд, что все дивились. И приехавшее начальство, и местное были довольны. Меж столов порхали официантки в белых передниках, и гуляла их старшая. Любезно улыбалась. И к нам подошла. Не надо ли что-то ещё? Мы благодарили: спасибо, всё лучше, чем надо.

– Наш стол, Соня, конечно, у тебя самый любимый, – сказала Наталия Григорьевна.

– Ещё бы!

Пели и плясали артисты изрядно, а отпев и отплясав, сели угощаться. Их

сменил оркестр для танцев, который наяривал зело борзо. Танцевали в просторном вестибюле. Вдоль стен на столах сверкали напитки и пестрели закуски.

Я вжался в простенок меж окон и смотрел. Конечно, не танцевал. Никакого танго, никакого вальса не было, только быстрые. Но не украинский гопак, не матросское «Яблочко», не лезгинка грузинская, не молдавский жок, не белорусская бульба, даже не фокстрот. Ещё быстрее. Самое медленное было часто тогда звучавшее «Бэсамэ мучо». Вспомнил знакомую старуху, которая об этом танце говорила: «Бес вас замучит». Да ещё двигались под звуки «Домино». Опять же вспоминал его переделку: «Домино, домино, денег нету, а выпить охота». Тут, в праздник годовщины Октябрьской революции, ритмы были боевые, победные. Гремели с лихорадочной скоростью звуки плясок, тряслись под них. «Летку-енку» танцевать вытаскивали всех. Я уцелел. Потом ударили «Эге-гей, хали-гали, эге-гей, самогон. Эге-гей, сами гнали, эге-гей, сами пьём!». То есть это были знаменитые «буги-вуги». И новые ритмы услышал я, и увидел, как под них двигаются. Тогда впервые познакомился с классикой еврейских танцев: «Хава нагила» и «Семь сорок». Это было нечто. Это можно было сравнить с ритуальной пляской победителей. Музыка была так энергична, ритмична, заразительна, что только заношенные, замученные ходьбой по асфальту ботинки удержали от участия в торжестве празднования Октябрьского переворота. «Хава нагила» в переводе «Давайте радоваться», танец ликования. Это мне драмодел Яша объяснил. И меня пытался в круг поставить. Нет, я бы так не смог. Тут нужна была тренировка. Круги были: один, побольше, вращался по часовой стрелке, другой, внутренний, против часовой. И всё время с согласным приплясом в едином ритме.

А уж когда грянул пляс «Семь сорок», тут пошли и пары, и кадрилиные кресты из четырёх человек, и отчаянные одиночки. Всё содрогалось и кипело. Не одни же тут были евреи, но плясали все.

Меня увидела Соня. Она и тут столами командовала. Весело спросила:

– А вы что стоите-простаиваете?

– А вы что то же самое?

– Мне нельзя, я на работе.

– Я так не умею.

– Тут и уметь нечего, топчись да дёргайся.

– Честно говоря, я уже уходить собрался.

– Можно, я вас немного провожу?

Мы вышли в прохладу позднего вечера.

– Знаете, почему я напросилась проводить? Мне надо сказать, чтобы вы ничего не подумали. Что я тогда с Олей пришла. Может, подумали, что навязываюсь?

– С чего это вдруг, что вы?

– Спасибо. А я почему пришла: я вас в первый день как из отпуска вышла, заметила, я вам говорила, ваше сходство с ним, с парнем, с которым любовь была. В регистратуре у меня знакомые, сказали, что у вас в паспорте Кировская область, это же рядом с моей родиной, архангельской. И я... – тут она как-то смущённо засмеялась. – В общем, вы мне понравились. И я, я же дура

ещё вдобавок, размечталась: вот я ему понравлюсь, он меня на Север увезёт. И чтобы в открытую, без обмана, пошла к вам с дочкой. Но сразу поняла, как вы про свою дочку сказали, что вы жену любите.

– То есть вы архангелогородская? Я это сразу понял: такая красота только у северянок.

– Да ну вас, не вгоняйте в краску.

– А как вы здесь оказались, это можно спросить?

– А чего нельзя? Крымские у нас шабашничали. Я не из самого Архангельска, рядом. Плотничали. На танцы приходили. И вот, нашёлся орёлик, округил. Вы поняли? Отец Оли. И увёз сюда. А здесь загулял. Пустой человек. Сразу надо было понять. Да я сорвалась больше из-за отчима, у меня папа рано умер, на зимней ловле сильно простыл, в больницу не захотел. Заработать хотел. О семье думал. А отчим всё же отчим. Я на маму сердилась: папу быстро забыла. А потом сама ляжку потянула, её оправдываю: дети же. Ещё после меня двое. Да и отчим стал на меня поглядывать. Ого, думаю. Лучше уехать от греха подалее.

– То есть маму вы не послушались?

– Точно! Она моего Витьку сразу просекла – пустышка. А чем взял? Он среди шабашников всё-таки покультурней был. Но как? Наскрёб хохмочек с «Кабачка тринадцать стульев», на это дурусти хватило. Шутил, смешил. Привёз к себе сюда. Весело с ним недолго было. Скоро я сама его выгнала, от них ушла. Хотя свекровь, его мать, рыдала: Соня, спаси Витю, Соня, не уводи Олю. Внучку без ума любит. Приходит к нам. А Витька опять где-то порхает. Привезёт Оле куклу и по бабам. – Она оглянулась на окна, из которых неслись звуки энергичных песен ливерпульской четвёрки, битлов-жуков. – Надо идти.

– А как вы в Доме творчества оказались?

– Закончила в Ялте уже кулинарное училище, искала работу. Вот и всё. Меня тянули в рестораны, но это уж нет, спасибо и до свиданья. Пришла сюда, спросила, взяли. Вначале на кухне, потом в простых официантках, потом старшей сделали.

– Мужички говорят комплименты?

– О, этого выше крыши. Это ж писатели! Не подумайте на себя. Но это такие мастера! Стихи дарят. Но я, если что, могу только по-серьёзному. Только так. Конечно, мечтаю о муже. Что в этом плохого? Но чтобы по рукам пойти? Тут только начни. Тут только дай слабину – сразу вразнос, а у меня дочь. Братика просит. О, если бы уехать на Север! Лучше всего! На Север! Да? Вы поддерживаете меня?

– Ещё бы! Меня привезли в армию в Москву, так тосковал! Стою в карауле, гляжу на Полярную звезду, от неё на восток, на родину. Писал жене, сейчас вспомню: «Жена моя, милый мой друг, что я, какой больной, чтобы ехать на юг, париться в этот зной. Там звёзды низко висят: плюнь на них – зашипят. Север в нашей судьбе, там звёзд высоких не счесть. Будешь ходить по избе, как самая что ни на есть!». Простенько, конечно, но из сердца.

– Нет-нет. Очень!

– И ещё, раз одобряете. «Наш северный лотос – кувшинка. Наш виноград – рябина. Наши моря – озёра. Наша пальма – сосна. Сосна – корабельная мачта,

с натянутым парусом неба, прочно в земле стоящая, как в палубе корабля».

– Здорово! Да, это другим не понять: Север! Белые ночи! Боже мой! Северное сияние! – Она оглянулась: – Но мне уже совсем пора. Пойду!

Она пригорюнилась, как-то вопросительно посмотрела:

– А можно вас поцеловать? В щёчку.

– Да я ж такой небритый. Решил бороду отращивать.

– Ещё лучше!

Поцеловала и засмеялась:

– Меня первый раз поцеловали именно в белую ночь. Тоже только в щёчку.

Ещё раз поцеловала и убежала. И вдруг вернулась:

– У вас есть сменные брюки? Сложите эти в пакет и соберите рубашки тоже.

И опять, ещё с большей скоростью, унеслась. Уже без поцелуя.

Даже и ночью музыка этого вечера билась в памяти слуха, не давая спать.

Конечно, наутро было не до работы.

Не выспался потому что.

ИТАК, ГРОМКАЯ ЧИТКА

Громкая читка у Ионы Марковича была на очень просторной веранде его номера. Совершенно открыточный вид на море, на горы, на небо. Сама веранда представляла как бы уличное кафе: гастрономическое обилие поражало с первого взгляда. Не успели мы отойти от вчерашней, грубо говоря, обжираловки, как на просторах секретарского номера нас ожидало застолье олимпийское. Кресла для сидений на веранде были расставлены в изысканном беспорядке, но каждое имело соседство со столиком. А столики были загружены яствами так, что у них подгибались фигурные ножки.

Иона Маркович был весел, благодарил за то, что удостоили посещением, говоря, однако, при этом, что очень волнуется.

– Надо же, – вполголоса насмешливо сказал Владимир Фёдорович, мы сидели рядом, – волноваться умеет. Сколько всего тут, попробуй, покритикуй.

Елизар, любимец Петровки, 38, был уже выпивший. Он рядом с нами сидел с другой стороны и доверился:

– Сегодня я – царь и бог. Ваня молодец, бабё не позвал. Моя сегодня не посмеет меня тормознуть. Давай дёрнем. Чего ждать? Это ж не банкет, обсуждение.

Столики и сидящих за ними зорко оглядывал редактор Ионы Марковича, уже мне знакомый, следил за сменой опустошаемых ёмкостей. Мгновенно заменяя их на полные.

Явились и расселись властители дум, небожители. Пришёл и опоздавший мореман Пётр Николаевич. Увидев такое обилие на столах, такое представительство властителей дум за столами, воскликнул:

– За хлеб, за воду и за свободу спасибо нашему советскому народу.

Сел на свободный стул рядом с критиком Веней, закинул нога на ногу. Веня выложил на стол предметы для раскуривания трубки: кисет, коробок спичек, плоскую загнутую на конце палочку, начерпал трубкой табаку из кисета и стал

утаптывать его этой палочкой, видимо, для этого специальной. Очень всё значительно проделывал.

Всем нам было очень неплохо. Куда лучше: дышали целебным воздухом, спустившимся с гор и растворённым поднимающимся навстречу воздухом морских просторов, что говорить! А обзоры какие! Смотришь на море, не насмотришься. Прямо жмуришься от его сияния, а всё равно хочется смотреть. Птицы для нас концерт устроили. Как бы аккомпанируя человеческим голосам.

Читка началась. Она мне очень напоминала описанное Чеховым в рассказе «Ионыч» такое же чтение написанного матерью героини произведения. Там слышно было, как «стучат на кухне ножи», готовится угощение, гости томятся ожиданием. У нас ножи не стучали, угощение давно было привезено и приготовлено, и своё произведение читала не барыня, которая сочиняла от скуки, а настоящий писатель. И, как бы я ни иронизировал, писатель хороший.

«В тот, первый послевоенный год мы жили очень трудно. И родители решили отправить меня в деревню к бабушке и дедушке. Они тоже еле-еле сводили концы с концами. У них оставалось два мешка кукурузных початков, бутыл растительного масла, мешочек изюма, немного сушёного мяса и копчёное сало».

В этом месте Владимир Фёдорович пнул меня ногой под столом. Я отлично понял смысл этого пинка. С таким количеством продуктов, которые тут были перечислены, по нашим вятским понятиям можно было зимовать.

Слушать было интересно. Городской мальчишка в деревне, познающий труды на земле, впервые встретившийся с лопатой, мотыгой, с кормлением козы и поросёнка, провожавший гусей и уток к пруду и обратно, – всё было описано со знанием дела. Иногда и с юмором. Знакомая мне ситуация, когда курице подложили утиные яйца и она вместе с цыплятами вывела на прогулку утят, и когда они оказались у воды, то утята поплюхались в воду. Бедная мама-курица чуть с куриного ума не сошла. Или как козлёнок наподдал мальчишке под коленки. Как прилетели скворцы. Как с дедушкой ходили в погреб за салом. Это вообще замечательно, когда авторы отдают поклон детству и отрочеству.

Я слушал и всё ожидал, когда же автор будет резать правду-матку о тяжёлой жизни. Может быть, вот это: приход председателя колхоза, который просил деда выйти на работу, и приезд в село секретаря райкома на общее собрание. На работу дед не смог выйти: болен, занят с внуком, а на собрание пришлось пойти. Пошёл с ним и внук, бабушка осталась готовить ужин. На собрании агитировали подписаться на государственный заём восстановления народного хозяйства. Но так как недавно уже подписывали, как говорится, добровольно-принудительно, то подписка шла со скрипом. Мальчик запомнил, как рассерженный на колхозников секретарь закричал на того, кто отказывался подписаться: «На Гитлера работаешь!» – «Так он же ж вже не живой!», – сказал кто-то. А другой сельчанин выразился покрепче: «Хрен с ём, подпишусь на заём!».

Читку, в самом начале её, оживил романист Елизар. Он был знаком с писателем, были они на ты, и он, по праву дружбы, во-первых, а во-вторых, желая совмещать приятное с желаемым, возгласил:

– Ваня, а вот это всё, что на столах, это только для посмотреть?

Иона Маркович даже привскочил:

– Что вы, что вы, что вы! Григорий Петрович, что такое происходит, ты что стоишь, не угощаешь? Давайте, давайте! За встречу!

– Не волнуйтесь, уважаемый автор, – солидно произнёс большой писательский начальник. – Григорий дело туго знает.

– Извините, спиной сижу, – оправдался, но с какой-то поддёвкой Елизар.

– Ну, он сказал: поехали. Чтоб нам всю жизнь работать и ни разу не вспотеть!

– Перерыв на аперитив! – услышалось от дверей. Это Яша-драмодел подал реплику. И он пришёл. Без Серёги.

То есть Елизар дал отмашку, слушать прозу хозяина стало легче, слушать стало веселее. Гриша свершал круги по веранде, ловко подливая в бокалы из кувшинов. Этот Гриша так и не присел.

Владимир Фёдорович, пригубив вино, заметил, что оно очень даже тянет и на «Чёрного доктора». Я же, ничего в винах не понимающий, просто его пил. Очень мне понравились три сорта сыра: мягкий, твёрдый и ноздреватый, домашняя колбаса, тоже нескольких видов, уже упомянутое сало (может, из той же деревни от бабушки) и домашней выпечки пшеничный хлеб, чудом сохранивший благоухающую свежесть, а фруктов было – лучше не перечислять.

Высокое собрание не чинилось. Критик Веня перестал демонстрировать раскуривание трубки, глотнул вина, и возгласил: «Вдова Клико!». Елизар придвинул к себе кувшин и часто заставлял его кланяться своему стакану, но и нашим бокалам его кувшин не забывал отдавать поклон. Один из небожителей вскоре вновь показал Грише пальцем на опустошённый кувшин, на смену которому тут же явился другой, полнёхонький. Пётр Николаевич, попробовав вино, сморщился, подозвал Гришу, чего-то шепнул, и Гриша слетал за бутылкой коньяка.

Чтение продолжилось. Читал автор хорошо, с лёгким акцентом, иногда делая паузу и взглядывая на собравшихся. К вечеру приятно свежело, море приглушило сияние, отдав его небесам, птицы тоже чирикали потише, тоже вслушиваясь в описание нелёгкой жизни. Закончилось чтение часа через два. В финале повести герой её осмеливается заговорить с соседской девочкой, на которую до этого только издали глядел.

– Вань, ты сам-то выпей, – сказал Елизар.

– Да, конечно, – согласился Иона Маркович. И в самом деле выпил. И обвёл всех вопрошающим взглядом.

Воцарилось молчание. Но очень краткое. И я буду не прав, если скажу, что хвалили повесть из-за того, что автор её так щедро угощал. Нет, повесть очень даже понравилась. Тем более критиковать шероховатости текста было вряд ли уместно, это же был авторский подстрочник.

Но как может не понравиться описание детства? Да у бабушки-дедушки, да в деревне! Повесть напоминала и «Детские годы Багрова-внука» Аксакова, и повесть Нодара Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Иларий», а там, где мальчик вытаскивает из речки брошенного кем-то щеночка, мелькнуло в памяти «Детство Тёмы» Гарина-Михайловского. Такие работы – благодарный поклон детству, заре жизни – каждый писатель просто обязан написать.

Но никто, конечно, поперёд батек не совался. Ждали первое слово от писательского начальства. И оно прозвучало от вставшего с фужером минеральной воды в руках:

– Иона Маркович, поздравляю!

Аплодисменты освободили начальника от необходимости словесно обосновать своё поздравление. Дружно заговорили. Гриша вновь совершал круги, теперь уже не с кувшинами, а с микрофоном, как бы собирая дань за угощение. Но не могло же быть только славословие, ведь в повести были затронуты и сложные темы, например, непосильное налогообложение, та же подписка на заём, упомянутые вскользь дезертиры. Да и начальник, не мог же он совсем без замечаний обойтись, выразил своё несогласие с одним из эпизодов:

– Мальчик ночью слышит, как бабушка молится. Он слышит, и мне это напоминает «Детство» Максима Горького. Там тоже бабушка молится, тоже своими словами, тут параллель. Но время, описываемое вами, Иона Маркович, другое. Вы освещаете время, в которое исполнилось тридцать лет советской власти. Так что рекомендую над этим эпизодом подумать. Литература идёт вперёд.

Тут Пётр Николаевич встал во весь свой рост и, он тоже был с хозяином на ты, спросил:

– А вот мне интересно: бабушка, увидя в окно секретаря, прячет икону. Это я понимаю, и бабушке твоей, икону спасающей, могу салютовать. Не хватает духа открыто сопротивляться, так хоть икону спасти. Конечно, пример внуку подаёт далеко не лучший.

– У нас атеистическое государство, – подал реплику второй начальник, тоже из секретарей правления.

Но не того стал учить. Пётр Николаевич фыркнул на него:

– Вы ещё скажите, что воинствующего атеизма.

– Да, скажу, – упёрся начальник.

– А в окопе под навесным и трёхслойным, перекрёстным и миномётным, и под бомбами много атеистов? И Сталин был ребёнок малый, что церкви открывал?

– Тут политика, тут заигрывания с союзниками. Помощь от них по ленд-лизу усилилась. «Студебеккеры», не вам говорить, это не наши полторки.

– Сейчас я не о том, – сурово сказал Пётр Николаевич и покосился на Гришу. Тот понял, подскочил и наполнил осиротевший было бокал. – «Студебеккерами» от Бога не откупишься. Хорошо, поговорим потом. Закончу свою мысль.

– Да, конечно, простите, перебил.

– Но бабушка не заменяет икону портретом вождя. Уже спасибо. Пора уже и писать, как бывало у западэнцев, про их двухиконность, двухпортретность. «Кум, яка ныне влада?» И портреты на стене, а то и в красном углу, то Сталина, то Петлюры. В зависимости от перемены власти.

– Да нет, друже, нет. Чего нет, того нет, – заверял Иона Маркович.

– Но бывало же?

– То не у нас.

– Добре. То есть «Над всей Испанией безоблачное небо»? Поняли? – Он уже ко всем сидящим обращался. – Это сигнал к началу действий, кто не понял,

войны в Испании... А теперь транслируем это на СССР. Я спрашиваю: был 20-й съезд? Был?

– Пётр Николаевич, конечно, был, – урезонил его большой начальник. – Мы повесть обсуждаем, повесть. При чём тут Испания? Он хотел вернуть застолье в рамки литературного собрания. Но не получилось.

– А раз был, то что мы всё в намёках пребываем? Всё по-прежнему: спасибо партии родной, у нас сегодня выходной. Так? Прошла зима, настало лето, спасибо партии за это? Хоть за это спасибо. И поэтому всё у нас пойдёт по новой. От одного культа до другого шагаем. То батька усатый, то Никита-кукурузник. Широко шагаем, штаны как бы не порвать. – И Пётр Николаевич, сделав жест рукой, означающий примерно: а что вы мне на это ответите, присел дохлёбывать светло-коричневую жидкость. За его спиной вновь возник Гриша, а в его руках возникла очередная бутылка.

– Силён Пётр, – восхищённо сказал Владимир Фёдорович.

Встал критик Веня. Вновь помахивая трубкой, что выглядело очень солидно, он тезисно изрекал:

– Острые моменты услышанного нами произведения присущи возрождению советской литературы. Однако застарелые формы руководства литпроцессом, засилие Главлита, несомненно, сковывает инициативу творческой личности. Но это не значит, что этого надо бояться. Я бы посоветовал автору пойти по пути итальянского неореализма. Да, да. Феллини или Антониони, сейчас это неважно, снимая фильм, включал в него заведомо непроходимые эпизоды. Не надо думать, что на Западе свобода волеизъявления. Например, снимает остросоциальную ленту и – в самом напряжённом месте включает вид собаки, бегущей по отмели. Опять острый эпизод, опять собака. Комиссия недоумевает: почему собака? Он говорит: я так вижу, для меня это очень важно, и так далее. Потом упирается для виду, потом вырезает собаку, говоря, что наступают на горло его песне, комиссия довольна, и кино идёт к зрителю. Таких собак я бы посоветовал разметать по тексту. Вдобавок это было и амбивалентностью. Вы, Иона Маркович, несмотря на возраст аксакала, легко владеете тем приёмом современной литературы, который некоторые критики называют постмодернизмом, а я бы назвал новаторством традиции. Да, такой термин возник в моём сознании, когда я слушал ваше чтение. Новаторство традиции! – Довольный собою, Веня чокнулся с мореманом.

– Ваня, – проникновенно сказал размякший от радости отсутствия строгой супруги и от угощения Елизар, – вот что важно, Ваня. Ты Иона, а зовём тебя Ваня. Имя твоё объединяет Советский Союз. Вспомним армейскую песню-марш «У нас в подразделении хороший есть солдат, он о родной Армении рассказывать нам рад. Парень хороший, парень хороший, как тебя зовут? – По-армянски Ованес, а по-русски Ваня». – Дальше в каждом куплете новая национальность. По-молдавски Иванэ, а по-русски Ваня. По-грузински я Ваню, по-литовски (эстонски-латышски ещё как-то), но всё равно Ваня. И ты, Иона, – Иван, и ты нас объединяешь. И повесть твоя стопроцентна.

– Спасибо, спасибо, Елизар, – растроганно говорил Иона Маркович.

– А имя Иван, Иоанн восходит к древнееврейскому, – с гордостью вставил Яша-драматург.

– Без интернационала нам никак нельзя, – сказал довольный начальник.

– Иоанны у них были, но Вани у них всё-таки не было. Я так думаю, – заметил Елизар.

Обсуждение повести, пропитанное застольем, плавно шло к идеальному финалу. Но вновь выступил мореман. Вновь он стоял с бокалом коньяка в левой руке, а правую поднял, будто голосовал или слова просил:

– На эту песню есть пародия: «У нас в подразделении хороший есть солдат, пошёл он в увольнение и пропил автомат». А пародия показывает фальшь того, что пародирует. Какая дружба народов, что людей смешить? – Сделав небольшую паузу и качнувшись на ногах, продолжил: – Внутри одного народа ещё есть какая-то солидарность, своих тянут, а к чужим любовь только у русских. Своих пожирают, других привечают. В Сибири вся нефть, всю нефтянку хохлы захватили. А в Кремле, уж я-то бывал в ЦК на Старой площади, ходил по этажам, читал таблички – сплошь украинизация. Кой-где грузинская фамилия мелькнёт да прибалтийская.

– Нормально, – одобрил Владимир Фёдорович, издали приветствуя оратора приподнятым стаканом. А мне заметил: – Молодец Петька. У него же и «За отвагу», и солдатская «Слава».

– А почему это нам Африка дороже своих областей и волостей? – продолжал Пётр Николаевич. – А? И Раймонда Дьен, которая на рельсах лежит, про неё уже опера, и Патрис Лумумба Африку освобождает, и Манолис Глезос в Греции флаг срывает, и Поль Робсон для всех поёт. Всех мы любим. Этот мальчишка в Италии, Робертино Лоретти, только его и слушали. Своих не было? Он голос потерял, мутация, так у меня внучка чуть с ума не сошла: «Дедушка, дай пять рублей, мы деньги для него собираем». А у него уже бензоколонка. Все нам дороги, все хороши, всех спасаем. Кроме своих, кроме парня Вани, правильно Елизар начал про Ваню говорить. Русский Ваня, который всех их талантливее. Но пропадёт в безвестии, ему не на что выехать из нищей деревни, его из колхоза не выпустят, надо город кормить. У Вани паспорта нет. Это вот сейчас КПСС, а давно ли было ВКП, в скобках бэ. Вэкапэбэ. Как расширявали? Второе крепостное право большевиков.

– Есть уже, есть паспорта, – испуганно успокаивал моремана большой начальник.

– Спыхватились, – надменно сказал мореман. – Почему парни рвались в армию? Паспорт давали. А на целину? То же самое. Вот об этом кто-нибудь напишет? Или так всё и будем колебаться вместе с линией партии? Одну официальщину гоним. Да все мы, писатели, – шестёрки при нынешней власти. А писатель обязан быть в оппозиции! Иначе тишь да гладь, ведущая в болото.

– Пётр Николаевич, успокойтесь, уже всё налажено, – говорил начальник.

– Ну что, товарищи, поблагодарим Иону Марковича?

Мы похлопали. Но, честно говоря, расходиться не хотелось. Пётр Николаевич, завладев вниманием, упускать его не захотел. И заявил, отпив из бокала и не садясь:

– А Босфор и Дарданеллы надо было брать! Надо было. И мы бы владели миром. Мы же собирались идти «под знаменем вольности» до самого Ла-Ман-

ша. Есенина Сергея читали? А Босфор, Дарданеллы совсем рядом. И нас поддержали бы евреи. Ведь мы вернули им государство.

– Да, это так! – воскликнул Яша-драматург. – Да! Это главный итог войны. Две тысячи лет скитаний закончены. Начало всесветного социализма. По Энгельсу, социализм наступает тогда, когда кочевые народы становятся оседлыми. Мы столько перестрадали!

– Разве я что говорю, Яша? Яша, я тебя жалею и от погромов укрою. Я о родимой партии. «Ваше поле каменисто, наше каменистее. Ваши девки коммунисты, наши коммунистее!» Вот русский язык, полный неологизмов и потаённого смысла.

– Пётр Николаевич, – разгневался главный начальник, – вы же член партии.

– Я вообще многочлен! – отвечал ему на это Пётр Николаевич. – Я между боями в неё вступал. Партбилет в санчасть принесли. Да, коммунист, не стыжусь! И в глаза всем скажу: не всё в порядке в Датском королевстве! Зажралась партократия! К Брежневу это не относится. Он вояка! Попробуйте на катерке политотдела два-три раза в день под обстрелом залив пересекать. Были в Новороссийске? У него есть биография! Что ему от Никиты досталось? Кукуруза? Униженный Сталинград? Гонения на церковь? Нет, Брежнев – наш человек! И если с Фиделем на охоту съездит, что из того? Я о номенклатуре. Везде же уже по областям, а приедь в любую республику, и по республикам, у партократов поместья, охотничьи домики в два этажа, скоро в три будут. Иди, носи им горе народное. Донесёшь, да не попадёшь. Везде же охрана. Как поётся: «А за городом заборы, за заборами вожди».

– Спасибо, Иона Маркович! – наши литературные вожди встали и покинули веранду.

– А вот ещё тема: инвалиды! – крикнул им вслед Пётр Николаевич. – Несмываемый позор на всю страну! Как убирали с улиц и площадей инвалидов, калек, слепых, безногих, безруких. Самовары! Прятали. Это что? Это непрощаемо! У меня был друг фронтовой. На протезах. Ему и коляску уже достали. Вдруг его увезли. Куда? Сказали: в дом инвалидов на гособеспечение. А их сваливали в одну кучу на Валааме. Вот где победители. Где друг мой Алёшка? – Пётр Николаевич поднял взгляд к потолку веранды, покрытому вьющейся зеленью. Будто что услышал. – Да! Чего это, кто это с чего взял, что литература идёт вперёд? Вперёд, ребята, сзади немцы – так она идёт.

Владимир Фёдорович подошёл к нему, и они присели за отдельный столик. Я хотел было пойти на свой первый этаж, но был задержан Гришей.

Между тем смеркалось. На юге рано и резко темнеет.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ЧИТКЕ

На веранде зажётся свет. Это Гриша позаботился. Мы подходили к Ионе Марковичу, благодарили. А он не мог понять, за что мы его благодарим, за чтение или за угощение. Но мы дружно уверяли, что и за то, и за другое. Очень довольный Елизар, прихватив в дорогу баклажку, налитую Гришей, обнимал Иону Марковича:

– Ваня! От всего сердца, от души, от всей печёнки, от всей селезёнки! От мочевого пузыря! Да, Ваня, прошиб! Жить захотелось! Гриша! Салют!

Ушёл. Ушёл и Пётр Николаевич. Владимир Фёдорович, проводив его, сказал:

– Ваня, я бы так тебе посоветовал с повестью поступить, да это и всем нам надо. Пусть полежит. Она сейчас горячая, надо остыть. Сейчас всё тебе в ней дорого. Ещё бы – дитя новорождённое. Отойди от неё, займись другим. А потом достань и читай, как чужую. И сам увидишь, где убавить, где прибавить.

Виновник торжества выпивал и благодарил. И вскоре исчез, оставив нас на Гришу.

– Отлично, отлично, – говорил критик Веня. – Как написал Саня Вампилов: «Побольше бы таких собраний, – говорили довольные трудящиеся». – Веня уже перешёл на фрукты.

Гриша, видно было, тоже был доволен. Персонально подскочил к Владимиру Фёдоровичу, спрашивая, не нужно ли ещё чего-нибудь.

– Нет, что ты, – мы же не в два пуза едим. Слушай, Гриша, а когда у вас первая зелень?

– Где-то к середине-концу марта.

– Ну что, – спросил я Гришу, – набралось на рецензию?

– Не только. Расшифрую записи, перегоню на машинку, разошлю по адресам для вычитки, для ещё дополнений, будем издавать книгу об Ионе Марковиче, всё вставим. – И предложил: – Может быть, и вы что-то скажете на магнитофон?

– Скажи, скажи, – подбодрил Владимир Фёдорович.

– Включаю.

– Скажу, что такие обращения к детству – это традиция русской, да и вообще мировой литературы. «История Тома Джонса, найдёныша», «Дети подземелья» Короленко...

– Традиция, да! – поддержал тут же подскочивший Веня, – но Иона Маркович её новаторски осовременил. Что я и сказал в выступлении. Новаторство традиции! Есть предложение, нет возражений? Гриша, записывает?

– «Грюндиг!» – похвалился Гриша.

– Отметь особо: это новаторский прорыв старшего поколения, когда реализм изображаемого погружается в подсознание, когда в контексте ощущается мощь подтекста и – внимание – новая реальность современной прозы и критики – веяние надтекста. Понял? – победно спросил он меня.

– Как не понять, я счастлив, что живу с тобой в одно время.

– Именно! За нами будущее. Старшее поколение ощущает накат волны, идущей на смену молодёжи, и начинает ей подражать.

– Волне или молодёжи? – не утерпел я спросить.

– Будем дружить! – возгласил Веня. – Да, Гриша, не выключай. Три-четыре! В новом произведении звучит такая лирическая ноточка, ниточка такая, которая превращается в лейтмотив звучания, нить эта не нить Ариадны, вошедшая в бытовой фольклор, а блестяще найденная автором путеводная нить высокого искусства... Так, Гриша, я уже мысленно пишу предислужку к твоему сборнику.

Драмодел Яша делился своей проблемой:

– Запиши, Гриша: У нас всё Москва и Москва, везде Москва. Шагу без неё не ступи. С этой московской зависимостью литература и кино в СССР тормозятся.

– Как это? – не выдержал я, в данном случае представитель московского издательства.

– Но всё же каждую позицию приходится утверждать: в издании книг шагу не ступишь без Комитета по печати, отдела координации, а кино? У меня на студиях страны идут фильмы. И все их, все! – взвизгнул он, – надо визировать в Госкино. А там ещё те зубры сидят. «Почему это у него сразу несколько лент?» Да потому, – пафосно произнёс Яша, – потому, что они нужны, актуальны, сверхархиважны, как сказал бы Ленин, утверждавший, что из всех искусств для нас, писатели не обижайтесь, из всех искусств важнейшим является кино. А в Госкино, уж где-где, казалось бы, идёт глушение инициативы снизу. А, уже сразу скажу, театр! Тут вообще беспредел – опять же утверждение, сдача каждой постановки начальству.

– И правильно, – утвердил всезнающий Веня. – Нужна не такая цензура, но нравственная! Издевательство над классикой постоянно. Ни кино, ни театр, ни телеящик без написанного писателем шагу не ступят. Всегда в начале слово, в основе всего. Это даже и в Библии есть, почитайте. Но это слово в театре интерпретируется. Вдумайтесь, какое слово: интерпретация.

– Интертрепация. – Это я вставил.

– Да. – Веня или притворился глухим, или в самом деле не заметил сарказма. – А вот есть явление, появился на Южном Урале драматург Скворцов. Константин. Дивное дело – пишет в традициях и народной, и античной драмы. Его ставят. И люди смотрят. В Челябинске пьеса о златоустовских мастерах «Отечество мы не меняем». Замечательно! Я видел на декаде культуры. А ставить извращённую классику – дело неумное. Вот Таганка, Любимов, Высоцкий. Вот Пугачёв, Хлопуша, крик, надрыв, где тут Есенин? Тут Любимов. А с другой стороны – Гельман, Мишарин, тринадцатый председатель, проблемы производства в свете морального кодекса. Авторы есть – театра нет.

– А чего ты про Скворцова?

– Его перевернуть нельзя. Попробуйте Софокла «Антигону» или «Ифигению в Авлиде» прочесть, выдёргивая куски, собьётесь со смысла.

– Наливаю! – воскликнул Гриша.

Мы, немногие оставшиеся, дружно выпили и отвальную, и стремянную, и закурганную. Но одержать победу над винно-коньячными запасами Ионы Марковича и закусками при них мы оказались не в силах.

И, как пишут журналисты о свершениях тружеников народного хозяйства, усталые, но довольные, мы возвращались.

– Давай продышимся, – сказал Владимир Фёдорович. Мы пошли вокруг Дома творчества. – Знаешь, почему у них не будет литературы? Обратил внимание в начале, сколько всего, когда он приехал в деревню, оставалось еды у дедушки и бабушки?

– Ещё бы!

– Вот, ты сразу понял. Я Гришу спросил неспроста. Если появилась после зимы зелень, если до неё дожили, значит, выжили. Пестики, сивериха на ёлках, свечечки на соснах, там дикий лук, кисленка-щавель, это же всё съедобно,

тебе ли объяснять? Они того, что мы испытывали, не испытали. Не пережили. Два мешка кукурузы! Мешок муки! Бутыль масла! Может, они Никите и посоветовали кукурузу сажать. О, Русь, себя не кукурузь! Кто это написал, не знаешь? Неплохо, да? Кукурузу – в Сиракузы, кукуруза – нам обуза. – Мы уже завершали круг. Уже поднялись на крыльцо. Он взялся за дверную ручку. – У нас за четыре мешка сорной пшеницы посадили. Да, подлинный случай. – Он засмеялся вдруг: – Ну, Петя, орёл! Фантомас разбушевался. А ему уже терять нечего. Его и генералитет поэтому не прерывал.

– Почему?

– Ты не знаешь?

– Что именно?

– Рак. Неоперабельный.

– Нет, – растерянно сказал я. – Не знал.

– Да-а. – Он помолчал. – А у тебя как, идёт дело? Только честно.

– Честно: никак.

Мне даже стало легче, что я признался. А куда денешься, он же мне помог приехать в Дом творчества. А творчества никакого. Не оправдал доверия. Жену туфель лишил.

От дальнейшего объяснения меня избавила парочка, выходящая из корпуса на вечерний моцион: Серёга и Ганна-Жанна. Рыже-огненная, она прямо вестибюль осветила. Их пародист Петя прозвал Пара-цвай. Владимир Фёдорович поспешно ушёл. Серёга меня представил.

– Ты с обсуждения? И как там? Всё гениально? – И, не давая ответить, продолжал: – Я тоже хотел пойти, а потом спрашиваю Жанну: тебя позвали? Она: нет. Ну, друзья мои, я не азиат, без дамы не пойду. А идти просить? Ну, такое не для нас, друзья мои. Это не апломб, а, если хотите, этикет. Да, Жанночка? – Жанна неопределённо хмыкнула. – Жанна, ты ему, – это он обо мне, – потом расскажи о том, как всё было с Рубцовым. – И уже для меня добавил: – Жанна с ними была знакома. И с этой, Дербиной, которая задушила, и с Колей. С Колей-то мы корешили, я тебе рассказывал. Так я и с Володей Фирсовым, с Геней Серебряковым, с Володей Цыбиным заединщики, на страже родины. Они не этот Евтух, который всегда на баррикадах. То в одну сторону постреляет, то в другую.

– Ты и с Пушкиным на дружеской ноге, – насмешливо сказала Жанна.

То есть использовал меня Серёжа, чтобы перед Жанной-Ганной выхвалиться. Никто его на читку не звал, и с Рубцовым вряд ли он корешил. Сейчас у Рубцова столько друзей развелось. А при жизни часто и переночевать было негде.

У меня в номере был мне подарок: на полу спал Сашок. На столе записка, закрывающая налитый до половины стакан: «Употребил».

НАДО И МНЕ СОБИРАТЬСЯ

Утром записка осталась, но прикрывала она уже не половину, а четверть стакана. То есть, как ни рано я встал, Сашок встал ещё раньше, отхлебнул, опохмелился и двинул на свои труды. Или, скорее, стеснялся за своё вторжение.

И опять мы бежали к морю. Уже сверху рубашек пришлось надеть свитера. На берегу торопились свершить обряд погружения, скорее одеться и обратно. Зрителей не было. Быстро одевались.

– Борода моя, бородка, до чего ты довела, – шутил Владимир Фёдорович о моей небритости, – говорили раньше: щётка, говорят теперь: метла. Правильно делаешь, от неё теплее. Скоро зима. А летом прохладнее.

– Дедушки же с бородами были. Потом на время прервалось, отец брился. А мне надо семейную традицию возрождать. Да и говорят же: мужчина без бороды всё равно, что женщина с бородой. Или ещё: поцелуй без бороды, что яйцо без соли.

– Без карломарксовой? – засмеялся Владимир Фёдорович. – У ленинской бородки всех бы женщин увёл. – И обратился к прибою: – Эх море-морюшко: завтра у меня последний разочек. – Раньше тебя приехали, раньше уедем. Без меня побежишь?

– Но, когда меня не было, вы же бегали сюда?

– А как же. Но с тобой повеселее было. Побежишь в одиночку?

– Как прикажете.

– Беги! И за меня тоже искупнись.

Назавтра мы его провожали. Вывалил весь корпус. Соизволило и начальство. Пётр Николаевич вышел, Веня отметился, конечно, Серёга и Жанна, пара-цвай, вышли на крыльцо. С ними уже часто и драматург Яша гулял, был тут же. Владимир Фёдорович отвёл меня в сторону.

– Всё-таки я доцарапал повесть. Назвал «Ночь после выпуска», нормально? Выкинули молодняк в жизнь, а жизни не научили. Хотел вам с Наташей вслух прочитать, не получилось. Теперь, без паузы, сажусь за следующую. «Четыре мешка сорной пшеницы» назову. Нормально? Ты не переживай, что мало сделал.

– Да вроде уже пошло, – доложил я.

– Никуда оно не денется, – подбодрил наставник. – Ты тут, по крайней мере, увидел цеховое содружество. Увидел? Понял, что его нет? И не надо. Каждый за себя, а все вместе за литературу.

– А литература за народ?

– Хорошо бы! Да, видишь, пока не получается. А как получится, если за поэзию считают рифмованную борьбу за мир да всякие параболы, а за прозу разоблачение культа личности. Смелые! Оказывается, сказать элементарную правду – это смелость. А критики смелые от того, что требуют от писателей смелости.

Наталии Григорьевне принесли цветы.

Подошла литфондовская машина. Они погрузились и уехали. И мне очень захотелось уехать. Прямо сейчас: опустел для меня Дом творчества, осиротела тропа к морю. Но подошёл, взял под руку меня Пётр Николаевич:

– Мне Володя велел тебя опекать. Пойдём выпьем.

– А можно нет? Но я могу рядом постоять.

– На нет и суда нет. Можно. Проверку на вшивость ты прошёл. Иди, садись, трудись. Ничего нам, брат ты мой, не остаётся. Давай пройдемся. Я ведь нынче

последний раз приехал, прощаться приехал. С Ялтой. Мы каждый год приезжали с Настей, а нынче, братишечка, я впервые один. И везде хожу, и везде слёзы лью. Тут были с Настей, тут посидели, тут я её огорчил, эту лавочку она любила, вязала тут мне каждую осень носки шерстяные, вот я и хожу от её заботы, хотя ноги стреляные. Везде Настя. На меня, как её похоронил, ещё на поминках нашествие началось. Много же вдов, знакомых её много, все по новой стали невесты. «Мы будем приходить, составим график», – это подруги её. А одну, ещё совсем удалая, особенно наваливают. Ну уж нет, они все вместе взятые мизинца её не стоят. Вот, – он достал из нагрудного кармана фотографию. – А глаза, видишь, какие глаза: чувствовала. Эх, милая! Как бы я тебе после этого отчитался при встрече? Что на твою кухню другую допустил? Чтоб мне рубахи не ты стирала? – Он убрал фотографию. – Мне бы тяжелей было, если б я первый отстрелялся, её опечалил. А так всё по-Божески.

Мы прошли по аллее до конца, вернулись. Ещё раз прошли.

– Так и мы гуляли. «Петя, – она говорит, – какой воздух». Вот и я приехал в память о ней подышать. Да перед смертью не надышишься.

Мы присели на «Настину скамью».

– Русские у нас везде ущемлены, – сказал он. – Шолохов Брежневу написал о засилии космополитов в кино и литературе, о псевдонимистах, от фамилий отцов ради выгоды отказавшихся. Об издевательствах в кино над русской историей. И что? И тот умудрился написать резолюцию: «Разъясните товарищу Шолохову, что в СССР нет опасности для русского искусства». Хвалю Брежнева: Лёня-Лёня, а в главном он оказался близоруким. Что удивляться: всегда в России царь-батюшка хорош, бояре плохи. И пошли тут всякие Солженицыны, сам-то он очень Никите угодил, тот Сталину мстил, да расплодился рифмачи, которым, кому ни служить, лишь бы честь и поклонение да валюта. Давно ли прошло столетие Ленина, уж сколько на эту тему было анекдотов. И никакого ему в них народного почтения. Выпустили юбилейный рубль-монету, тут же: «Скинемся по лысому?». Или: алкаш достаёт монету, Ильичу говорит: «У меня не мавзолей, не залежишься». А наши строчкогоны везде наварят. У Вознесенского такой прямо надрыв: ах, уберите Ленина с денег: он для сердца, он для знамён. А про школу Лонжюмо, где готовили террористов, учили убивать, сочинил полную дикость: что русская эмиграция – это Россия, а в самой России среди «великодержавных харь проезжает глава эмиграции – царь». А дальше слушай: «России сердце само билось в городе с дальним именем – Лонжюмо». Вообще – полный кошунник: «Чайка – плавки Бога». Это уже такая мерзость. Рождественский шаги к мавзолею считал, тоже на поэму насчитал. Коротич, и этот поэму настрогал про дополнительный том собрания сочинений. Срам! Сулейменов тоже отметился, но он Ленина сделал тюрком, своим угодил. Все на премии рассчитывали. Иначе-то бы чего ради надрывались? И выскребли. Могут. Евтушенко вообще без передышки молотил всякие «Братские ГЭС», где египетская пирамида говорит с плотиной электростанции, да «Казанский университет», где Володя Ульянов занятия срывал. Противно всё это. А они в фаворе. А молодёжь смотрит: вот на кого надо равняться, вот они где, успешные. А это всё ширпотреб. Есть же Горбовский, Костров, Куняев, Передреев, Старшинов, Кузнецов. Лёша Решетов в Перми. Поэты! И поэты в прозе сильные:

Юра Казаков, Юра Куранов, Женя Носов, два Виктора: Лихоносов, Потанин.

Пётр Николаевич опёрся о скамью и встал:

– Вишь, какую тебе лекцию закатил. Люблю поэзию. Сам в молодости грешил. Но понял, что пишу хуже классиков. Хватило ума. – Мы как-то невольно вновь пошли по кругу. – Послушали мы национального классика, а мы кто? Мы, русские? Мы национальные или нет? Нет, мы – советские. Вот Иона, уже у него и подстрочник готов. То есть у него в республике выйдет повесть на их языке и на русском языке. И напишут сценарий, и кино снимут, и сделают театральную постановку. И Москва его издаст, и книгой, и в журнале. И в «Роман-газете». И за всё заплатят ему по высшей шкале. Разве так есть у русских? Этот главный наш, ему я на читке не угодил, меня потом успокаивал: нужен класс богатых, они будут меценатами, покровителями. Новые Морозовы и Саввы Мамонтовы нужны. Богатые богатеют за счёт роста бедности.

Он остановился.

– Всё, хватит. Заболтал я тебя.

К ЛЮБИМОЙ СОСНЕ

Очень тяжело было пожимать его руку. Но он так бодро и сильно стиснул мою ладонь, так крепко хлопнул по плечу, что я постарался не унывать. Договорились, что сядем на обеде за одним столом. То есть он сядет на место Владимира Фёдоровича.

Я пошёл было в номер, но понял, что, хотя наконец-то моя работа пошла-поехала, сразу сейчас, после их отъезда и разговора с Петром Николаевичем, сесть за неё не смогу.

И пошагал я в гору к своей любимой сосне.

И пришагал.

И закарabкался повыше. Утвердился в развилке сучьев, как в кресле, расселся в нём и озирал свои владения, как полновластный хозяин. Вот там были в винных подвалах, там сидели, пили «марганцовку», там, за зеленью прибрежного парка, берег, на который прибегали каждое утро. Там кафе «Ореанда», там причал, туда дом Чехова, а туда, я обратил взгляд на горы, к северу, семья моя, Москва, а восточнее родина – Вятка. Только её воздухом можно надышаться. Хотя и в Ялте он неплох.

Так бы и уснул в этом кресле-качалке, да ведь не обезьяна, свалиться можно.

На обеде ко мне подсадили не только Петра Николаевича, но и Серёгу с Жанной. Об этом просила меня Соня. Пожурила, что не принёс ей вещи для стирки. Мы говорили легко, как брат и сестра. Заметила, что я сейчас гораздо лучше выгляжу, чем при заезде. Сказала, что сейчас у неё на работе Оля и что Оля сделала для меня маленький подарочек. Я проводил её к её столу.

– Соня, извините меня, я слово одно замолвлю за Сашу. Я к нему пригляделся, он очень порядочный. Мелочи не в счёт. Буду говорить напрямик. Он вас любит. Да-да, не перебивайте. Знаю, что вам вернуться на север одной, с дочерью, трудно. А с хорошим мужем очень даже прилично.

Соня смущённо засмеялась:

– Ничего себе, поворотик сюжетики. Я и не говорю, что Саша плохой. Тут его избаловали.

– Соня, он может быть верным. Если мужчину любят искренне, он на сторону не пойдёт.

Олечка подбежала и не дала закончить разговор. Я только и успел сказать:

– Олечка вся в него.

Соня даже вспыхнула. Оля мне подарила шишку, превращённую в симпатичного ёжика. Сказала, чтобы я отвёз его своей Катечке.

Но самое-самое главное: работа моя понеслась, вот что! Это было так освежающе и так успокоила душа, что я писал с огромной скоростью, только и боясь, чтоб что-то не помешало. Бежал на завтрак-обед-ужин пораньше, быстро поглощал еду, не понимая, что ем, быстро убегал, обегая стороной мужской клуб. Даже раз столкнулся с Соней и не сразу узнал: был занят мыслями о работе. Да, дождался, заработал счастье работы страданиями. И тут скажи мне даже, что меня зовёт к себе в шатёр шамаханская царица, я бы и от царицы отмахнулся. Ни одной странички ни на какую царицу не променяю.

Да, но времени уже не оставалось. Прибежал в одиночестве утром к морю – холодища! Непокойно синее море. Окунулся за себя, проплыл. Выскочил. Но надо же и за учителя. А за него побольше надо. Заплыл, выплыл, трясусь. Простыл.

И резко затемпературил. В последнее утро прощального погружения исполнить не смог. На завтрак не пошёл. Конечно, сразу пришла Соня, потом медсестра, врач. Оставляли, продляли срок, но я не поддался на уговоры.

И назавтра уехал в Симферополь. А там на поезд. Билет на это число у меня был куплен заранее.

Томские писатели сердечно поздравляют Владимира Николаевича Крупина с 80-летием. Шлют ему пожелания здоровья и творческих успехов.

Николай ИГНАТЕНКО

МНЕ ДОСТАЁТСЯ ТОЛЬКО ЖИТЬ...

ИГРА В СЛОВА

Сто тысяч слов. Не думая о славе,
все запятые, точки и тире
так между ними правильно расставить,
чтобы никто не думал об игре.
А думал о трагедии и страсти,
о смерти, бесконечности, душе,
об униженьях, приносимых властью,
как избежать банальности клише.
Сто тысяч слов. Как хорошо с тобою
их отправлять на чистые листы,
и это называлось бы любовью,
когда бы мысли делались чисты,
как детское желанье быть любимым,
как детское желание обнять...
Какого чёрта неостановимы
мирские страсти, я хотел бы знать!
Ста тысяч слов едва ль бы нам хватило,
чтоб внятно и подробно описать,
как вознесло в зенит с такою силой,
что космос нас не хочет возвращать.

КОНТРАПУНКТ

Очарованье – контрапункт привычки.
Я очарован, кругом голова,
а красота твоя – мои отмычки,
от сейфов, где скрываются слова,
которые одной тебя достойны.
Я извлекаю их – ты мой кумир.
Любовь к Елене вызывала войны,
любовь к тебе во мне упрочит мир.
И, глаз спросонья в свой компьютер пяля,
по ссылкам вбок и глубже уходя,
я захожу на сайт моей печали,
где ты лукаво смотришь на меня.

Привет, подруга! Девочка из сказки.
Спешу из повседневности к тебе.
Охапки слов и виртуальной ласки
пытаюсь донести к твоей судьбе.
И донесу! Пускай смешон как будто.
Пускай так не бывает. Ничего!
Я на волне прилива контрапункта
ворвусь в твоё живое естество!
Я очарован, как лесковский странник.
Живу, лучи от солнца теребя.
Последний доживающий романтик.
Я очарован. Я люблю тебя.

* * *

А жизнь моя вершится просто:
мне достаётся только жить,
быть не глупей твоих вопросов,
умней своих ответов быть.
И жизнь не делится на части,
в ней день и год почти родня.
Мне так хотелось, чтобы счастье
тебя достало, как меня.
Но я по-прежнему в сомненьях,
они – тюремщики мои.
Ты разбираешься в соленьях,
ты разбираешься в любви,
ты шелковица, я – твой кокон.
«Анкор, – кричу, – ещё анкор!»
И высоко, или высоко
звучит наш праздничный аккорд.

* * *

Сосновый лес из моего окна
совсем как наша хмурая страна.
Почти недвижим, плохо проходим,
но жить хочу я в нём и только с ним,
не суетясь, со вкусом, не спеша
и слыша, как звенит его душа.
Душа его совсем как у меня –
потёмки. Значит, с лесом мы родня.
Не зря мы рядом дышим и живём:
и он во мне, и я ответно в нём.
Сосновый лес из моего окна –
страна, страница, просто сторона...

АПРЕЛЬ

Апрель – он месяц очень непростой.
В душе, конечно, праздничный настрой,
но плечи, как тяжёлая сума,
оттягивает бывшая зима.
Её скорее хочется забыть
и вспоминать, как остро пахнет сныть,
когда её в ладонях разотрёшь.
Апрель, он летом будущим хорош.
Он взрывом солнца в окна по утрам
как будто жизни прибавляет нам,
да так, что хочется, плотнее встав к стене,
тянуться с хрустом в шее и в спине
и, как флакон с духами «Ив Роше»,
встряхнуть стрихнин, осевший на душе,
тоске вечерней крикнуть: «Отвяжись!».
В апреле словно начинаю жизнь.

ТОМСКОЙ БОГЕМЕ

Нас мало. Нас, может быть, двести.
И если ещё ты не трус,
зовут – приходи, чтобы вместе
наш общий почувствовать пульс.
Поэт, музыкант ли, художник,
актёр, в нашем Томске тебе
собраться со всеми несложно,
но как это важно в судьбе!
Но это так важно, чтоб рядом
при всей скоротечности встреч
собрат мог бы встретиться взглядом
с собратом, коснувшимся плеч.
Не будет пусть горько и пусто,
когда нас чуть больше, чем два.
Мы вместе во имя искусства,
которым Россия жива!

МСЧ № 2

У меня в голове замыкание,
и конца круговерти нет.
Очень сложное сочетание:
русский, дачник, старик, поэт.
Мало что от работы доцентом
сохранилось в моей голове.
Разве ночью бывают моменты:
мысль одна промелькнёт или две.
В основном же раздумья об этом:
что, откуда, за что, почему.
Строчки часто приходят. Поэтом
проще быть, когда трудно уму.
Ум мой болен. Не зря я в больнице.
Чистят мой засорившийся мозг.
Вот и мечутся белые птицы
моих мыслей, мечтаний и грёз.

ТВОЙ АРОМАТ

Зачем ты ароматен так, тимьян?
Ну разве что сродни тебе Melissa.
Тебя вдыхая, становлюсь я пьян,
её вдохну, как будто бы влюбился.
Два запаха теперь во мне слились,
с тех пор как я тебя однажды встретил.
Восторженная наступает жизнь,
как будто мы одни на белом свете.
И что мне экзотический Восток,
тем более благопристойный Запад?
Во мне ликует радостный зверёк,
почуяв женщины любимой запах!

БАЛЛАДА О ПОДУШКАХ

Я вот что думаю, а может, мы с тобой
и не были назначены друг другу?
Ведь не было гуляний под луной,
не слушали мы чувственную вьюгу.

Отсюда твой весёлый звонкий смех
и встречи, мной желанной, неприятье,
и груда умножается помех
всего-то лишь желанию объятья.
Природа почему-то против нас,
точней: против меня, по крайней мере,
и для мольбы не тот иконостас,
и ангелы не те не там взлетели.
И что теперь: садиться, опустив
когда-то гордо вздёрнутые плечи?
Чтобы хвалёный мой императив
устал шептать, что, мол, ещё не вечер?
А этого не надо допускать.
Зову – приди, потешимся друг дружкой.
Конечно, в разговорах. Сладко спать
мы будем каждый со своей подушкой.

ОКТАБРЬСКИЕ ВСТРЕЧИ

«Слова... слова... Убыток дней моих», –
знакомый говорил поэт когда-то.
Ещё мечтал про домик на двоих,
но он давно живёт один, ребята.
Машину водит и велосипед,
перед зимой сметает листья в кучи.
Ему уже довольно много лет,
старик как будто, но старик могучий.
Зимой его любимый ритуал –
топить с утра подробно и любовно
в ограде баню. И друзей позвал,
богемных, дорогих, единокровных.
Приедут с жёнами или одни.
Когда одни, то всё не так забавно:
в снег не летают голые они,
и смеху много меньше и подавно.
Зима ещё не скоро. И пока
поэт готовит веники с дровами.
Печаль светла. Рука его легка.
Он ждёт, друзья, октябрьской встречи с вами.

ДЕКАБРЬСКИЕ МОРОЗЫ

Перед судом истории истец,
я испытал подобие печали.
Морозы подступили наконец,
как будто мы их никогда не знали.
Декабрь хитрюга. Он своё возьмёт,
испытывает перед Новым годом,
чтоб в массе не ликующий народ
стал разом вдруг ликующим народом,
чтобы, схватив друг друга за бока,
сплясали перед взлётом в стратосферу,
тем более – приходит год быка,
и атеисты дружно пьют за веру.
Нелюбящие выпьют за любовь,
она придёт, она уже стучится.
Пусть в этом мире человек любой
в её объятьях сможет очутиться.
За храбрость надо выпить бы ещё,
она бы всем сейчас не помешала,
как своего товарища плечо
и как зарок всё начинать сначала.
Печаль и радость ходят чередом,
возможно, жизнь в грядущем станет легче.
А перед неминуемым судом
я не истец, а как и все – ответчик.
Ну а морозы надо пережить,
дождаться исцеляющего лета,
иначе лопнет тоненькая нить,
в душе моей запрятанная где-то.

НОВЫЙ ГОД

Не пишется, не спится, не читается.
Жить одному в лесу процесс серьёзный.
Опять же рано в декабре смеркается,
восход, напротив, наступает поздно.
Зато в ворота постучится праздник
с весёлым новогодним обаяньем,
нагрянут гости учинять проказы
с застольем, баней и в сугроб ныряньем.
И вместе мы уже не заскучаем,
нарядим ель гирляндю со светом.

Не зря меня назвали Николаем
и отрядили в жизни быть поэтом.
Пускай теперь не пишется, не спится,
придёт январь, я это всё восполню.
И надо обязательно влюбиться,
чтоб Новый год уже встречать с любовью.

БУКВЫ

Живу один. Но мне ещё доступны
не только баня, печка и дрова.
Сажусь за стол и вспоминаю буквы,
которые слагаются в слова.
Слова послушно забегают в строчки,
а строчки поглощает интернет.
Мол, нелегко живётся одиночке,
и вообще на свете счастья нет.
Лишь только солнце зимнее лениво
покажет иногда своё лицо,
чтоб я ему навстречу торопливо
в пимах и шубе вышел на крыльцо.
И, по-крестьянски распахнув шубейку,
впустил его лучи себе на грудь,
чтоб не клянуть судьбу свою индейку,
да и тебя, подружка, не клянуть.
Забыла и, наверно, не приедешь.
Ты женщина, и что с тебя мне взять?
Но всё-таки надеюсь, что сумеешь
слова, что написал я, прочитать.
Мне важно знать, что ты жива и чтима,
а кто там в сердце нежится твоём,
не важно мне. Здесь мною ты любима,
и мысленно мы здесь живём вдвоём.
Тем более, что мне ещё доступны
не только снег, лопата и дрова.
Я рад, что мне ещё доступны буквы,
которые слагаются в слова!

ЗАТВОРНИК

Есть много плюсов в том, что я затворник,
живу один в заснеженном лесу.
Я истопник, посудомойка, дворник,
и все другие функции несусь.
Рублю дрова, топлю исправно баню,
готовлю щи и даже мою пол.
Жду Груздева, Панова Саню,
пишу стихи и отправляю в стол.
Жизнь такова. Немного в ней событий.
Свою гордыню я почти изжил.
С душой в ладу. И несколько открытий
я в области духовной совершил.
Бог существует лишь для тех, кто верит,
как верно с точностью до наоборот.
И бездну мира вряд ли кто измерит,
и сложность мира вряд ли кто поймёт.
Как птица, рад немногим в жизни крохам:
звонкам друзей, прогулкам в ближний лес
и в том лесу своим глубоким вздохам.
Красот так много! Как остаться без?
И слава Богу, что пока без боли
в мозгу, в суставах, в сердце я живу.
Кажусь себе счастливым даже, что ли,
а может, просто грежу наяву.

РЕФЛЕКСИИ НА БОЛЬНИЧНОЙ КОЙКЕ

Не довелось... Не вышло... Не встречался...
Жизнь не прошла по многим закоулкам.
Как тонкая брошюрка прочитался
и вкусно жить не научился толком.
Лишь зренье сохранилось безупречным:
сияют как один мои знакомцы,
которые талантами отмечены,
во мне теперь как маленькие солнца.
А встречи, где даётся по заслугам,
в которых я участвовал немало,
на радость чаще молодым подругам...
Но что-то всё равно недоставало.
И вот когда предстану для ответа,
скажу устало, без вранья, спокойно:

В меня немало проникало света,
старался жить в ответ ему – достойно.
А где не вышло, значит, слаб и грешен,
но и судить меня не каждый вправе.
Стараясь быть и ярким, и успешным,
не думал о величестве и славе.

СЧАСТЬЕ

Настя, Настенька, Анастасия,
я в больнице, но не больной.
Ты такая же, как Россия,
здоровеешь рядом с тобой.
Ах, какое в глазах сияние,
бёдер женственных крут изгиб.
До тебя велико расстояние,
но погиб я, Настя, погиб.
Вьюги скоро придут для замяти,
словно псы холодов и зла.
Сохраню тебя, Настя, для памяти,
чтоб в душе моей грешной жила.
Чтобы мысленно, как отрада,
когда я разожгу камин,
ты садилась на кресло рядом
и просила: поговорим.
Разговоры под всплески пламени
ни о чём, безмятежно чисты.
Если что-то и есть между нами –
лишь одни со стихами листы.

* * *

Я уйду, не дождавшись рассвета,
не дождавшись весеннего дня.
И судьба наступлением лета
очень тихо помянет меня.
Я уйду ни известным, ни славным,
две-три сотни наживши друзей,
из которых – счастливейшим самым,
чтоб не плакать по жизни своей.

*Томская областная писательская организация поздравляет
Николая Алексеевича Игнатенко с 75-летием!*

Юрий ЧУФАРОВ

НА ЛАДОНЯХ ВЕТРА

* * *

Изготовив паутинку, ухватившись крепко,
Полетел паучок на ладонях ветра.
Бабье лето на дворе, птичий крик прощальный,
Скоро лето и зиму вьюги повенчают.
Платье белое оденут, приморозят нос –
Сколько будет радости, сколько будет слёз...
А пока сияет небо, солнышко печёт...
Только к югу улетает смелый паучок.

ЛЕДЯНАЯ КРАСОТА

Люди, ну какие вы красивые, –
Ледяною красотой безжалостны.
Гордым одиночеством счастливые,
Позабыв спасибо и пожалуйста.

Нежным в жизни стало неуютно,
Отправляем матерей в приюты.
Рыцарство и женственность не в моде,
Для стихов и время не находим.

Видно, злая вьюга налетела,
На сердце мороз узоры чертит.
Мы во власти Снежной Королевы...
Помоги нам, маленькая Герда –

Ледяную стену одиночества
Поцелуем жарким растопи...
Люди, а внимания так хочется,
Нежности, участия, любви.

СПЕШИТЕ ЖИТЬ

По просёлкам и днём, и ночью
Катят годы, и точно в срок –
Там природа поставит точку,
Там взлелеет любви росток.

Бабым летом чарует осень,
Тихо кружит кленовый лист,
А над жёлтою сказкой просинь
Неба ясного, воздух чист.

И опять возвращает надежды
Благодать золотой тиши.
Только я не хочу, как прежде,
Слышать – не торопись, не спеши...

Приласкает ненадолго осень –
Торопитесь, спешите жить,
Ведь вернётся зима, не спросит –
Будет вьюгами суд вершить.

РЫЖЕНЬКОЕ СОЛНЫШКО

Вновь закрыто солнышко грозовой тучей,
И холодной вьюгой тропки замело,
Только вспоминаются встречи наши лучшие,
Рыженькое, рыженькое солнышко моё.

Кто тебя теперь встречает, нежно обнимает,
Кто стихи читает, о тебе поёт,
С кем, зеленоглазая, сердце замирает?
Рыженькое, рыженькое солнышко моё.

Я с тобой, любимая, встретиться мечтаю,
Приласкать, как прежде, опалить огнём.
О тебе, любимая, всё стихи слагаю.
Рыженькое, рыженькое солнышко моё.

В ПОЕЗДЕ АЛМАТЫ – ПЕТРОПАВЛОВСК

Взмах чёрных крыльев – брови...
Взгляд милых глаз Востока...
Нежным закатным цветом
Чуть розовеют щёки.

Что же в преддверии ночи
Смотришь печально вдаль.
Что же вернуть ты хочешь,
Что же тебе так жаль.

Далей степных раздолье,
Скачки лихих коней,
Детства счастливого волюшку,
Отблеск аульных огней?

«Трав не топтать степных мне,
Из родников не пить.
Доля такая выпала –
В городе шумном жить».

ДОМ – ПОЛНАЯ ЧАША

Дом – полная чаша. Искрится хрусталь.
Немецкая стенка, настенные фрески...
Но вдруг вспоминается давняя даль
И простенький ситец дверной занавески...

Когда-то потерял единственный друг
В дороге, когда доставали, тащили...
А может быть, завтра окончится круг...
И кто с вами рядом, кого вы любили?

Работа, забота, копили, купили...
Дом – полная чаша, а сил уже нет...
Жить, чтобы любить, и любить, чтобы жили.
Вот истина вся. Здесь секрет и ответ.

ПОЗОВИ МЕНЯ

Позови меня, что тебе стоит...
Ты не жди, когда вьюга седая
Унесёт журавлиные стоны
Далеко от любимого края.

Позови меня, что тебе стоит –
Осень тучами сизыми мчится.
Позови меня, что тебе стоит,
Позови – всё опять повторится –

И далёкого озера просинь,
И обрывистый берег реки –
Позови меня, милая, просят,
Позови, напиши две строки...

И сыграют гитарные струны,
Вспыхнут сучья горячим огнём,
И бессонною ночью и лунной
У костра потихоньку споём...

Как гуляет дорожками вечер,
Как цыплёнок все зёрна склевал,
Что красивей тебя нет на свете,
Что другой такой не целовал...

Как обламывал ветви сирени,
Как мигает, прощаясь, звезда...
Я встаю пред тобой на колени
И прошу: позови навсегда.

Татьяна Юргенсон

СМОРОДИНА, ОНА КАКАЯ?

Надюшка не может молчать ни одной минутки. Слова сыплются из неё так же шумно и весело, как дождевики из шкодливой тучки, неожиданно набегающей в яркий летний день на солнышко.

– Тук – тук – тук; кап – кап – кап, – шумят дождевики.

– Ма-ма, па-па, ба-буш-ка... – без умолку щебечет Надюшка, задавая свои бесконечные вопросы всем подряд.

– А почему идёт дождь? А на кошке можно покататься? Почему жужжат комарики? А Смородина, она какая?

– Как какая? – Мама даже удивилась. – Надюша, ты вспомни, как прошлым летом мы с папой привозили домой ягоду смородину, а потом вместе варили из неё варенье.

– Да, мама, я, конечно, помню. Ягода смородина такая кругленькая, чёрная, сладкая.

– Вот-вот, – подтвердила мама. – А зачем ты тогда спрашиваешь? – снова удивилась мама.

– Но сама Смородина – какая? – не унималась Надюшка.

– Ну знаешь, – мама готова была уже рассердиться, но в этот момент с работы вернулся папа. Он не слышал, о чём спрашивала его неугомонная дочурка. Весело подмигнул Надюшке и открыл свой портфель.

– Смотри, что я тебе принёс! – торжественно сказал папа, доставая большой газетный кулёк, из которого на стол сразу покатались чёрные блестящие ягоды.

– Смородина! – восхищённо вскрикнула Надюшка.

– Конечно, смородина. Ну что, вспомнила?! – мама облегчённо вздохнула.

– Я помнила, – слегка обидевшись, ответила девочка. – Ну как ты не поймёшь, я совсем о другом спрашиваю.

– О чём? – переспросил папа, переодеваясь в свои старые брюки, в которых он обычно возится с железками.

– Смородина – она какая? – тут же выпалила Надюшка с набитым спелой ягодой ртом.

– Как какая? – папа тоже удивился. – Ты же её сейчас кушаешь.

– Вот-вот, – снова сказала мама, тоже пробуя спелые ягоды. – Она сегодня об этом целый день спрашивает.

Папа задумался на минутку, а потом вдруг сказал:

– Ну что ж, раз Надюшка хочет знать, какая она – Смородина, пора их познакомить.

И мама, и девочка разом повернулись к папе: мама – с удивлением, а Надюшка – с затаённым дыханием, уж не шутит ли папа? А папа продолжил:

– Завтра – выходной. Я сейчас посмотрю мотор для лодки, и можно будет съездить на наш остров. Видишь, ягода поспела, – обратился он к маме, тоже

пробуя ягоду на вкус, – пора собирать. И эту «почемучку» возьмём с собой, – кивнул он, улыбаясь, на притихшую дочь.

Мама сначала хотела возразить, мол, мала ещё дочь, ещё и шести лет нет, но потом махнула рукой. Согласилась...

– Учти, – предупредил папа перед сном Надюшку, – вставать будем очень рано, так что спать ложись без всяких капризов. И чтобы завтра я тоже не слышал никаких жалоб, – с напускной строгостью проговорил он.

Надюшка тут же нырнула под одеяло и стала ждать, когда они придут: сначала её сон, а потом – новый день.

И снился ей удивительный сказочный лес, в котором все деревья, звери и даже цветы разговаривали с ней, а ещё ей приснилась большая-пребольшая корзина с разной ягодой.

Не успел забрезжить рассвет, как Надюшка побежала в зал, где на стене висели большие часы. Бом-бом-бом-бом-бом, – сообщили часы Надюшке о том, что уже пять часов утра. А когда через пять минут мама заглянула в Надюшкину спальню, она с удивлением увидела уже одевшуюся дочь, которая старательно заправляла свою кровать, чего раньше за ней никогда не замечалось, и что-то шёпотом говорила сама себе.

– Доброе утро, – сказала мама. – Ты уже оделась? Молодец. А о чём ты там сама с собой говоришь?

– Я не с собой говорю, а с Филей, – поправила девочка маму, устраивая рядом с подушкой плюшевого слона. – Я его прошу не скучать, пока я буду в гостях у Смородины.

– Ну-ну, – только и сказала мама, ещё раз засомневавшись, стоит ли брать такую маленькую с собой.

Августовское утро на Оби всегда таинственно и загадочно из-за молочных туманов, первых предвестников скорого наступления осени.

«Здорово!» – Надюшка с восхищением озиралась по сторонам, торопливо шагая с родителями к речке. Она ещё никогда не вставала так рано, и ещё ни разу не ездила за ягодой. «Вчера я ещё была маленькая, – рассуждала про себя девочка, – и поэтому меня никуда не брали. – А сегодня взяли...»

– Мама, я уже стала взрослой? – Надюшкино восхищённое молчание длилось не более пяти минут.

– Да нет. Ты у нас ещё совсем маленький ребёнок, – поспешила ответить мама.

– А почему тогда... – не успела задать свой вопрос девочка.

– Ну уж не такой маленький, – заметил папа, – вон и ведро своё несёт сама, не хнычет, и знать всё хочет. Так что, мама, ты не права, – и, обернувшись к Надюшке, поторопил: – Не отставай, ягодник, скоро уже дойдём до реки.

Река была далековато от дома, и за то время, что они собирались и шли до берега, солнце успело подняться над горизонтом и разогнать туман.

Надюшка увидела, как последние клочки водяной ваты постепенно оседали и таяли в речной воде, и вот уже вся река превратилась в серебристый поток.

– Мама! Папа! Правда, красиво?! – Надюшка никак не могла умолкнуть, восторженно теребя родителей. И лишь когда папа оттолкнулся от берега веслом и завёл мотор, она вдруг как-то враз замолчала и присмирела.

«Уж не боится ли?» – подумал папа. Но когда он увидел сияющие глаза дочери, понял, что у той впервые просто не хватает слов.

– Оказывается, ты всё-таки умеешь молчать, – улыбнулась мама Надюшке через некоторое время. Но та лишь отрицательно помотала головой, но вслух не сказала ни слова.

Надюшка, затаив дыхание, смотрела то на противоположный берег реки, вдоль которого тянулись густые заросли деревьев и кустарников, то на беспокойное отражение неба в речной воде, то на само небо. Она смотрела и никак не могла решить для себя, что же красивее и куда интереснее смотреть. Её веселили и облака, и ветер, растрепавший выбившиеся из-под косынки волосы, и водяные брызги, которые нет-нет да попадали в лодку. Наконец она не выдержала и рассмеялась звонко и счастливо.

– Что, нравится?! – прокричал папа, пересиливая гул мотора. – Сейчас, вот за тем поворотом, и будет наш остров...

И девочка стала смотреть во все глаза туда, куда показал папа. Но остров оказался проворнее и хитрее острых глазок Надюшки. Он появился неожиданно, сразу заслонив не только просторы реки, но и потеснив небо. Достаточно высокий и крутой берег оказался совсем неудобным для высадки на остров

– Мама, как же мы туда заберёмся? – Надюшка заволновалась.

– Сейчас увидишь, – успокоила мама.

И правда, они медленно стали огибать остров, и через несколько минут девочка увидела большую красновато-жёлтую полосу песчаной отмели.

– Всё. Приехали, – сказал папа и заглушил мотор. Он вылез прямо в воду и, ухватив лодку за крюк на носу, стал подтягивать её подальше на отмель. Мама тоже вылезла из лодки и поспешила на помощь папе.

«Вот он – дом, где живёт Смородина!» – с радостью и затаённым ожиданием чуда подумала девочка, разглядывая и высокий берег, который вблизи уже не казался таким неприступным, и большие деревья, и незнакомые цветы, которые пестрели на берегу. Она так увлеклась, что даже не слышала, о чём переговаривались родители...

– Попьём чай и пойдём... Ты смотри-ка, – улыбнулась мама, – наша дочь о чём-то задумалась. – И позвала: – Эй, ягожник, вылазь, а то мы всю смородину без тебя соберём.

Надюшка встрепенулась и, снова засмеявшись, протянула руки навстречу папиным сильным рукам.

Папа накрепко привязал лодку к большой коряге, которая торчала из песчаной отмели, взял на плечи рюкзак, оглядел с ног до головы маму и Надюшку, и со словами: «Ну что, пошли!» направился к самому острову. Он легко взобрался на высокий берег, потом поднял наверх за руки Надюшку и помог подняться маме. И, не успели они сделать за папой и десяти шагов, как папа вдруг остановился и сказал:

– Ну что, Надя, смотри, какая она – Смородина! – и подвёл дочку к большому кусту, который был даже выше Надюшкиного роста.

В первый момент девочка не поняла ничего, потом она увидела большие зелёные листья, а под ними!.. А под ними пряталась большая спелая ягода.

– Вот, собирай, – сказал папа. – Сможешь собрать всё?

– Смогу, – закивала головой Надюшка.

– Хорошо. А потом иди к лодке. С тебя и этого куста хватит. А мы пойдём немного дальше, ещё поищем кусты. Не испугаешься одна?

– Нет! – гордо ответила девочка.

– Молодец. Если что, позовёшь нас. Ну, собирай, а мы пошли, – сказал папа и пошёл дальше. Мама хотела что-то возразить, но не стала, только сказала ещё Надюшке:

– Ты не бойся. Я буду совсем рядом. Вон там, видишь? Там тоже смородина...

Но Надюшка уже почти ничего не слышала. Она сорвала первые ягодки и задумалась, а что же с ними делать – скушать или положить в ведёрко?

– Да ты кушай, а собирать мы с папой будем, – засмеявшись, сказала мама.

– Нет. Я тоже буду собирать, – упрямо сказала девочка и решительно разжала ладошку над своим ведёрком. Тук-тук-тук-тук – застучали о дно ведёрка ягоды. И мама тоже пошла дальше. А Надюшка стала рвать ягоду за ягодкой и кидать их в ведёрко.

Ей понравилось пригибать высокие ветки к себе. Они были упругими и не ломались. Потом она заметила, что не все ветки растут вверх, есть, оказывается, и такие, что пригнуты к самой земле, но на них тоже есть ягода. Она собирала долго, старательно, каждую ягоду, боясь пропустить хоть одну, пока не решила всё-таки попробовать смородинку на вкус. Здесь, в лесу, ягода ей показалась ещё вкуснее, чем та, которую принёс домой папа, и она с удовольствием стала собирать ягоду прямо в рот.

Наевшись смородины, Надюшка захотела узнать, сколько же у смородинового куста веток. Сначала она насчитала их двадцать три, потом почему-то получилось только восемнадцать. В конце концов она пересчитала ветки куста в третий раз, и насчитала их девятнадцать. Решила, что больше пересчитывать не будет, и снова стала собирать ягоду в ведёрко.

Но через пять минут прямо на ветку возле неё села большая красивая бабочка. Она медленно складывала свои крылышки вместе и тогда становилась похожа на необычный жёлтый листок, и раскрывала их, превращаясь в пёстрый жёлто-оранжевый цветок. Девочке захотелось подержать бабочку в руках, но красавица тут же улетела, не позволив даже притронуться к себе. Не успела Надюшка расстроиться, как на ветку смородины села птичка. Но девочка уже не спешила поймать лесную певунью. Она поняла, что жители леса не очень-то любят, чтобы их трогали руками. Поэтому Надюшка стояла и, затаив дыхание, смотрела на шустрюю незнакомку во все глаза. Но птичка тоже не задержалась на смородине. Она посмотрела из стороны в сторону, несколько раз чирикнула и упорхнула по своим неотложным делам.

Потом Надюшка разглядела большую невесомую паутину, в центре которой затаился огромный серый паук с большим чёрным крестом на спине. В первое мгновение девочка немного испугалась и даже отпрянула в сторону, но любопытство оказалось сильнее страха. Она даже почти решилась потрогать паука и уже протянула руку, но в последний момент всё-таки передумала. Минут десять Надюшка смотрела на лесное чудище, ожидая, когда же оно пошевелится. Но паук так и остался в центре своей паутины совершенно неподвижным.

Девочка напрочь забыла о том, что хотела собирать ягоду. Она прыгала вместе с кузнечиками, попробовала пострекотать как стрекоза, представляя себя такой же невесомой и крылатой. Она и не заметила, как устала. Просто решила отдохнуть, и, уютно устроившись под ветвями смородинового куста, уснула...

Проснулась Надюшка от того, что кто-то её взял и осторожно поднял на руки. Открыв глаза, она в первое мгновение даже не поняла, что же с ней случилось. Ей успел присниться сон, в котором лесной добрый великан пообещал ей показать что-то интересное. Потом она поняла, что этим великаном оказался папа. И счастливо заулыбалась, почти не слыша того, что говорила мама:

– Ну ты нас и испугала. Мы тебя звали, звали, а ты не отзывалась...

Когда они вернулись к лодке, Надюшка увидел, что там уже стояли два больших ведра, полных ягоды. Мама аккуратно поставила рядом Надюшкино ведёрко поменьше. В нём ягоды было чуть меньше половины, девочка даже засмушалась, что у неё оказалось так мало. Но папа её успокоил:

– Ничего, зато варенье из твоей ягоды будет самое вкусное. – И, прежде чем оттолкнуться веслом от берега, он вдруг спросил: – Ну что, узнала, какая она – Смородина?

– Да! – радостно воскликнула девочка. – Она большая, добрая и... и... и самая-самая! – И Надюшка рассмеялась звонко и счастливо.

Елена КИРИЛЛОВА

КРУЖИТСЯ ЛИСТ, НЕ ИМЕЮЩИЙ ВЕСА

* * *

«Какая красная луна
Взошла над дальним побережьем,
Круглей и пламенней, чем прежде.
Звезда поблизости видна,

Так и не знаю до сих пор –
Наверно, Марс или Венера...» –
И, соблюдая чувство меры,
Я прекращаю разговор.

Леса надвинулись сурово,
И не спасает блеск огней
От осознания, что основа –
Природа. Ну а мы – при ней.

Луна краснеет в тёмном небе,
Как в незапамятном году,
И притаились печенег.
А если снова нападут?

Кусты прибрежные трепещут,
Скрывая прячущихся в них.
Звезда неузнанная блещет.
Луна краснеет. Вечер тих.

* * *

Осени запах. Высокие кроны –
Не эвкалипты, но смешанный лес.
Каркают радостно утром вороны,
Коршуны вечером кружат окрест.

Солнце ещё не укрылось за лесом,
Тёплые волны идут от земли.
Кружится лист, не имеющий веса,
Или, точнее, имеющий ли?

Кончились музыка в парке и танцы,
Блики на спицах, шуршанье колёс –
Это последние протуберанцы
Лета – чего-то из области грёз.

Красные полосы, тёмные тучи:
С каждой минутой крепчает закат.
Ветер слегка пробирает, колючий –
Что же поделаешь, лето на спад...

2020 г.

* * *

Мы проплываем под мостом
Куда-то в никуда,
И остаются за бортом
Поля и города.

Уткнулась лодка в камыши,
И лёгкое весло
Ушло из рук – теперь ищи:
Течение унесло.

Когда, окутаны плащом,
Крадёмся в темноте,
Мы не разбойники ещё,
Но хулиганы те

Ещё. В окне огонь свечи –
На тёмном берегу.
Иди, бродяга, постучи,
А я постерегу...

2019–2020 гг.

ГИМН ШКОЛЯРОВ

Гуляй, весёлый подмастерье,
Наукам преданный школяр!
Грызя обломанные перья,
Ты заполняешь формуляр.

Забрось дремотное ученье,
Покинь столы библиотек.
Учитель пусть считает ленью
Твой неожиданный разбег

И погруженье в гущу улиц,
Слегка приправленных весной:
Она тебя уже коснулась,
А не промчалась стороной.

Горлань под окнами полночно,
Гуляй проспектом дотемна.
Науки сушат, это точно,
А жизнь для радости – одна.

* * *

Закрой на время третий глаз
И чакры притвори.
Хотя и так – из них сейчас
Работают лишь три.

В пределах избранной игры
Для нас важней всего:
Квадратен мир, крепки столпы,
Держащие его.

И никакая злая рать
Не сможет одолеть...
Нам право дали выбирать,
А может – пожалеть

О том, что выбрали за нас –
Но проще по волнам.
Я закрываю третий глаз,
Зачем он нужен нам!

* * *

Курс держа на зелёные крыши
И на жёлто-коричневый дом,
Поднимаюсь по склону всё выше,
Вертикаль сохраняя с трудом.

И, скользя по размокшему снегу,
Ноздреватому рыхлому льду,
Эту площадь – то шагом, то бегом –
Всё равно по кольцу обойду.

И закружится цирком окрестность,
Разойдутся лучами пути:
Неизвестно пока, неизвестно,
По какому мне дальше идти.

Я теряюсь в извитости улиц.
Проложить помогите маршрут!
Да – услышали, да – оглянулись:
Восемнадцатый номер? Он тут.

6 марта 2019 г.

* * *

Толпа – и я. И часть толпы
Течёт туда, куда и я.
Колосья вяжутся в снопы:
Какой-то колос – жизнь моя,

Неотделима от других,
Таких же тонких колосков...
Но если что – беги, беги!
Ты здесь – и тут же был таков.

От разрушающей толпы
Не так-то просто убежать.
Наступит срок – вяжи снопы.
Есть время – жить, и время – жать.

* * *

Этот город осел
На болотах и глине,
Но поближе взглянуть –
По-столичному строг.
Ранней осенью свет
Красных ягод рябины
Освещает мне путь
Вдоль разбитых дорог,

Тех, которые нам
Стопроцентно знакомы:
Мы не знаем иных –
Может, тем и сильны.
Глядя вниз из окна
Невысокого дома,
Вижу лужи, а в них
Отраженье страны.

Мы привычны к дождям,
Мы привычны к ненастью,
А жестокий мороз
Нашу молодость длит.
Из общаг уходя,
Приближаемся к счастью
Не тропою из роз,
А по Розочке-стрит.

В коридоре стою,
Где все двери закрыты:
Из далёкого сна
Надо вынырнуть вновь.
Я ключи отдаю
От общажного быта.
Остаётся весна,
Остаётся любовь.

Владимир ВАСИЛИНЕНКО

ПОД СОЗВЕЗДИЕМ ЛЬВА

* * *

Как грубееет, скудеет
Наша русская речь!
Кто теперь ей владеет
И сумеет сберечь?

Гибкой, красочной, звучной
Называл её всяк –
Был язык наш могучим,
Но, как видно, иссяк...

Матом, шуткою сальной,
Похвальбою пустой
Воздух мы сотрясаем
И приходим в восторг!..

* * *

Я шёл тропой уединённой,
Листву опавшую топтал.
Гляжу – пятнистый оленёнок
Застыл встревоженно в кустах...

Я замер тоже. Изваяньем.
Малейший шорох заглушив.
Вот так – на крохотной поляне –
Две наших встретились души.

Какой он робкий. Тонконогий.
Большие уши. Хвост торчком.
Стоит, бедняга, и не дрогнет
Черносморозинным зрачком.

Соображает, вероятно,
Уж не пора ли ускакать?
Горят оранжевые пятна
На тельце трепетном зверька...

Таким тщедушном. Исхудалом.
Былинкой тонкою торчит.
Но солнце щедро раскидало
На нём весёлые лучи...

* * *

Грешно испытывать природу
И на разрыв, и на излом,
Мечтая, что тебе в угоду
Она откликнется добром.

Её кляли и прессовали,
Диктуя меру и закон.
Вздохнуть несчастной не давали,
Тесня её со всех сторон...

Загнав бедняжку в дальний угол,
Вот-вот на клочья разорвут...
Но лицемерно – лучшим другом
И даже матерью зовут...

АКТРИСА

Полуслепая, полунищая,
Полузабытою живёт.
Никто любви её не ищет,
Не домогается, не ждёт...

Не жаждет скорого сближения.
И нет для этого причин.
А сколько было в окружении
У ней блистательных мужчин!

Красивых. Умных. Обаятельных.
И что не имя – то фурор.
Их сумасшедшие объятия
Бедняжку греют до сих пор.

Они в искусстве стали вехами.
Надежду каждый подавал.
Её – несчастьем переехало
И грубо бросило в отвал.

В норе – холодной и пустующей –
Ей часто грезится с тоской,
Что кто-то помнит взгляд чарующий
С улыбкой этой колдовской...

* * *

Доверительно и шумно
Торопили мы разбег –
Беспросветный и бездумный
Двадцать первый грянул век...

Позже стало нам обидно –
Доигрались. Дорвались.
Тут любому очевидно –
Ожиданья не сбылись.

Век кровавый и кошмарный
Канул в Лету. На порог
Бойкий, путанный, угарный
К нам столетний валит срок...

Распахнуть объятя хочет.
Манит к чёрту на рога...
Он нас точно заморочит
И разденет донага...

* * *

Вы видели, как лебедь белокрылый
Вдруг покидает сонные пруды?
Как будто чудодейственная сила
Его приподнимает от воды...

Колеблется, дробится отраженье
И крылья непомерные растут –
Он начинает смелое скольженье
И устремляет тело в высоту...

И только звуки – частые, глухие
Тревожат застоявшийся покой...
Он оставляет водную стихию,
Чтоб вольно себя чувствовать в другой.

Скорей-скорей! Без страха и упрёка,
Тугую шею вытянув струной,
Чтоб раствориться в сумраке далёком
И тишину оставить за спиной...

* * *

Я родился в год Лошади.
Под созвездием Льва.
Был ребёнком непрощённым.
Даже выжил едва.

В ту лихую годину
Мы не знали щедрот,
Когда хлебом единым
Насыщался народ.

Он тогда без утайки
Горевал. Бедовал.
Свою скудную пайку
Ребятне отдавал.

Мы, от голода синие,
Как пушинки, легки,
Вырастали в России
Всем смертям вопреки.

Каждой радуясь крошке.
И делись ей подчас.
Тот далёкий год Лошади
Безвозвратно умчал.

Сто смертей за спиною.
В серебре голова.
Но горит надо мною
Семизвездие Льва...

* * *

Мой путь незнаем и неведом.
Пролёт тернистой стороной.
Едва ли кто шагает следом
И грозно дышит за спиной...

Кому, какой отпущен мерой
Талант – попробуй рассуди...
Но биографию Гомера
Не знает нынче ни один!

Семь городов не смели толком
Признать поэта земляком –
Влачилась слава очень долго
По Древней Греции ползком...

Творца бессмертной «Илиады»
Не ждал венки и гонорар –
Неисчислимы награды
Другой затейник собирал.

Мечтая свет и правду сеять,
А не удариться в загул –
Он сочиняет «Одиссею» –
И вновь в народе – ни гу-гу!

Столетия кряду миновали –
Теперь хвалу ему поют...
И не стыдись – слепцом прозвали,
Чтоб близорукость скрыть свою!

ДУША ТИГРА

Томит жара. Ярится вьюга.
Унылый дождичек частит,
Но полосатый тот зверюга
Способен всё перенести.

В глухой чащобе. В редколесье.
На горном склоне. В камышах –
В любом укромном, тайном месте
Царит тигриная душа.

Шумы и запахи витают.
Туман над сопками осел...
Она незримо обитает,
Сурово властвуя над всем.

Как дух природы вековечный,
Что непреложен. Свят. И строг.
Её губить бесчеловечно –
Она – гармонии залог.

* * *

Я не страшусь ничуть забвения
И громкой славы не ищущу –
Придут другие поколения
И поглядят вокруг вприщур...

Плевать им будет на регалии,
Заслуги, звания, чины...
На тех, кого все отвергали,
И кто достиг величины.

Кого вписали дружно в классики,
Издали щедрым тиражом,
И кто покоится в запаснике,
Столетним мраком окружён...

Кого губили и калечили,
Чтоб было памятно другим,
И кто – открыто и доверчиво –
Слагал властям хвалебный гимн.

Кого потом обидным хохотом
Завистник тайный провожал...
Не повезло нам всем с эпохой –
Никто бессмертья не стяжал!

Умножаются страницы моего мартиролога. Я считаю нужным сказать своё слово даже о тех, кого знал не так уж хорошо, не так подробно.

Владимир Крюков

ФЕДЯ ГОСПОРЬЯН

Фёдора я последний раз видел давно. Но вспоминаю его часто, по разным поводам. И вот наконец собрался, пишу.

В общежитии мы с моим товарищем-первокурсником Володей Лосевым оказались в одной комнате с филологами-старшекурсниками. Это был подарок судьбы. Мало того, что все они были интересными, я бы сказал, самобытными людьми. К ним ещё и заходили очень разные ребята. Тогда я и познакомился с Федей. Он на историко-филологическом не учился, но ему нужна была именно эта среда. Здесь знали и любили поэзию.

А Федя писал стихи. Яркие и дерзкие, они сразу запоминались, вызывая восторг и зависть.

*Молчали башенные краны –
Крановщики были пьяны,
И в опустелые стаканы
Стекали капельки слюны.*

Куда там наши подражания романтическим опытам Блока или не безупречного вкуса звукописи Бальмонта.

Его не заботило то, что какой-то образ в его стихотворении кому-то покажется невнятным или противоестественным, никому он не собирался что-то объяснять.

*Осень страстно леса обнажает.
Осень страуса изображает, –*

писал он, и гори огнём всякие там замечания о несуразности, пародийности, даже глупости. Возможно, его самого это не более чем позабавило. Но ведь остались строки в нашей памяти! И мы ими с юмором перекидывались.

А он продолжал писать так же броско, вычурно, изобретательно:

*Как сладко в эту ночь спалось!
В лесах спал лось, в постелях – люд.
Стояло в небе семь полос –
Как бы безумствовал салют.*

Друг Феде студент-заочник юрфака и тоже постоянный гость нашей комнаты Виталик Полищук любил поэзию. Он делал в трёх-пяти экземплярах машинописные сборники, где по своей прихоти чередовал стихотворения рус-

ских классиков и наших что ни на есть современников, участников университетского литобъединения. Там как-то рядом они располагались – Александр Пушкин и Григорий Кружков, Афанасий Фет и Виктор Лойша. По-особому уютно стояли рядом Фёдор Тютчев и Фёдор Госпорьян.

Такая небанальная была у Феда фамилия. На слух она, понятно, воспринималась как Гаспарян. Но нет – ГОСПОРЬЯН! Он называл себя сыном трёх великих народов: русского, армянского, украинского.

Тогда в общежитии он меня, обычно тихо сидящего в углу, конечно, не запомнил. Мы заново познакомились через год, когда меня отчислили и я зарабатывал в сельской школе-восьмилетке деревни Татьянавка трудовую характеристику для восстановления. Не просто тупо зарабатывал, мне хотелось, чтобы ученики оценили мои старания.

И вот сидел над тетрадями, когда хлопнула дверь, и моя хозяйка Арина Васильевна заговорила с кем-то на кухне. И я услышал будто знакомый голос и, выскочив на кухню, увидел Виталия, а рядом с ним Фёдора. Без всякого предупреждения приехали они, и это было вдвойне радостно. Я успел, правда, пережить ту самую робость ученика перед учителем, но Федя довольно быстро это разрушил. Вечером мы пили на кухне за знакомство, за то, что мой хозяин Фёдор Иванович и мой гость Фёдор Григорьевич оказались тезками. В следующие дни мы сблизились, стали своими. Говорили до полуночи, читали стихи. Я спрашивал, почему же Федю не печатают в Москве. «Там в редакциях столы забиты на годы вперёд», – отвечал он, улыбаясь. Никакой обиды на такое положение. И никакой досады по этому поводу.

Густая чёрная борода Фёдора сбила с панталыку наших сельчан, решивших, что он поп. Может быть, не обошлось без участия моего хозяина деда Фёдора: плут был добрый, любил пошутить, или, как он говорил, «заняться юмором». Но Федя, войдя в роль, достойно и серьёзно крестил встречных старушек, отвечавших ему поклонами.

Я притащил из школы катушечный магнитофон и как-то вечером записал Фёдора.

Читал он ровным, густым, красивого тембра голосом.

*Одинокий кричит коростель.
Надвигается дождь, вечерет.
Будет ночь, бесконечна, как степь,
Как тайга, что за степью чернеет.*

Сколько раз я слушал эту запись в школе после уроков и годы спустя в других обстоятельствах. Мне нравились стихи Феда Госпорьяна. Потом лента стала осыпаться, то и дело рвалась. Нет её больше. Но память хорошо сохранила его голос.

Я проводил их сначала до райцентра, а потом и до самой Оби. Мы попали почти на время ледохода. Кромку льда, пока ещё державшего Обь, отделяло от берега несколько метров полый, открытой воды (что у нас называется разводье). Под водою, конечно, был донный лёд, но насколько он близок к поверхности и насколько крепок, никто не знает. Тут, на берегу, переобувался в пимы

мужчина, только что перенёсший на лёд подростка, который уже шагал к тому берегу. Там, как мы знали, такой промоины не было. «Дай на минуту», – попросил я у него, указывая на сапоги-бродни (это с высокими голенищами, кто не знает). Он разрешил и даже, подойдя к воде, приблизительно показал, где лучше идти. Я взял Федю на закорки и полез в воду, вскоре через резину почувяв её лютый холод. Остроту ощущениям прибавляло и то, что шагать приходилось вслепую. Но благополучно ссадил Федю и пришёл за Виталиком. Этот неожиданно оказался значительно тяжелее. И тут, как нарочно, посередине пути, я почувствовал, что нога моя теряет опору и погружается в глубину. Из всех сил рванул вперёд, переставил её, достиг цели. Студёной была не только вода, озноб пробежал по загривку и спине.

Забавно, что через два месяца холодная вода и Федя опять сошлись в моей жизни. Был месяц май. Фёдор приехал в Татьяновку, сказал, что рад повидать меня, но ему надо в село Монастырка поговорить с директором совхоза о возможном калыме. Туда можно было проехать просёлочными дорогами, минуя три деревни. А надо сказать, что дед Фёдор доверял мне свой мотоцикл «К-75». В общенародной огласовке «Козёл». Сели мы с Федей и поехали. Домчали почти до места. Село просматривалось на крутом взгорье. Но нас разделяла река, неширокая, но и не узкая. На том берегу была причалена лодка с веслом, значит, перевозчик отлучился ненадолго. Однако шло время, а лодочник не появлялся. Не помню, Федя ли намекнул, либо я сам вызвался. Потрогал воду – холодная, но терпимая. (Потом я узнал, что вода в ней даже в июле только чуть теплее – ключи). Плавать я всегда любил и плавал хорошо. Разделся, поискал более-менее удобного схода и вошёл в воду. Сразу понял, что плыть надо быстро, чтобы не околеть и разогнать кровь. На другом берегу, растеревшись ладонями, сел в лодку и так же активно заработал веслом. Надо сказать, что солнце в тот день хорошо грело, было моим союзником. Я перевёз Фёдора на другой берег и остался ждать. Он вернулся довольно скоро ни с чем – калым обломился. Лодочника не было. Что делать? Наказать его, угнав лодку, нехорошо. На счастье на том, нашем, берегу появились и стали махать нам руками мужик с бабой. Всё образовалось само собой.

Уезжая из Татьяновки, Госпорьян сказал, что калым всё равно будет найден, и обещал взять меня в бригаду. Летом 1969-го я впервые участвовал в так называемом калыме.

Мы жили в нескольких километрах от райцентра Кожевниково вполне комфортно, в просторном вагончике. Строили птичник, и Федя у нас был бригадиром. В бригаде были те, кто умел выкладывать стены – Фёдор, Миша Казанцев и Паша Крачковский – а мы, подсобники, таскали носилками раствор, подавали кирпич по цепочке на стены. Сооружение понемногу росло.

Но Фёдор связался в селе с женой милиционера, который был где-то в отъезде. Внезапно он появился. Наш бригадир едва успел унести ноги. Без умелого руководства работы мы завершили кое-как, получили жалкие, совсем не калымные рубли. Но месяц этот прошёл весело, мы не убивались до изнеможения, хватало сил и времени говорить и спорить, ходить на Обь, плавать и греться на песчаном берегу.

От этого лета остался у меня снимок: весёлый Федя в окладистой своей бороде приткнулся к моему плечу.

Наше общение продолжилось. Я уже восстановился в университете. Фёдор по-прежнему бывал гостем у гуманитариев. Однажды зашёл в нашу комнату, протянул мне сборник Евтушенко «Катер связи». «Считай, что твой», – сказал он и тут же сделал хорошую подарочную надпись. О, я тогда сильно любил Евтушенко. «Слушай, давай это дело обмоем, – предложил он. – Очень выпить хочется». Сказано – сделано.

Я познакомил его со своей подругой. Через два дня она с возмущением и обидой рассказала о встрече с ним в университетской роще. Он цепко схватил её за руку и потянул за собой в кусты, ласково лопоча что-то вроде: «Не бойся, никто ничего не узнает». Она сказала ему спокойно и жёстко, как она это умела: «Пусти. Я буду кричать». Он отпустил. Я с ним объяснился: «Больше мы не общаемся». Федя от души рассмеялся: «Да ты что?! Из-за такой ерунды? Считай, что я её проверял, и она проверку прошла». Я повернулся и ушёл.

Эта его «простота» в общении с женщинами, бесцеремонность в достижении своей цели были мне в нём неприятны. Там речи не шло о какой-то влюблённости. Это был пресловутый основной инстинкт. Но Федя был поэтом, знал и любил поэзию начала XX века, классно читал её. И как тут быть?

Нас долго примирял его друг Миша Казанцев, в конце концов ему это удалось.

Потом Федя покинул Томск и отправился вместе с женой Сашей в районную газету на север области, почти на мою родину, в Парабель. Перед отъездом подарил мне две медные иконы.

В 1976-м решил отметить 33-летие. Не был он ревностным христианином. Просто был небанальным человеком. Я получил его приглашение. И добрался к нему некоторым романтическим образом. Отец мой работал в службе снабжения нефтепровода. Как раз в Парабель отправлялся транспортный вертолёт, набитый ветошью. На нём я и полетел. И даже потом отразил это эпически в стиле Александра Межирова:

*Мотор грохочет нещадно. Я обалдел от полёта.
Внизу ни дома, ни дыма, ни даже нитки реки.
Подо мной простираются Инкинские болота,
А ноги мои упираются в громаднейшие тюки.*

Оказалось, только я один и прибыл на чествование. Федя ждал и других гостей, огорчился. Но к вечеру был в настроении. А мне-то, конечно, повезло: я один (Саша составляла компанию) упивался его рассказами о жизни. «О жизни», сказал я. Но всё это были истории о стихах, о поэзии, вплетённой в жизнь.

Была история о том, как прилетали к строителям нефтепровода Лев Ошанин и Евгений Евтушенко. В гостинице Федя общался с ними. Ошанин вскоре вырубился, а вот с Евтухом они сидели ночь-заполночь. Фёдор ему много прочёл. Евгений Александрович любил слушать чужие стихи. Федя сказал, что он слушал неотрывно, просил ещё и ещё. Затребовал распечатки, получил их на-

утро и увёз с собою. Ни строки нигде не появилось. Но рассказывал Госпорьян об этом весело, без тени обиды. И я совершенно уверился в том, что для него важно писать, читать близкому окружению, быть признанным в этом узком кругу, пожинать славу местного масштаба. Это была его стихия, его прямо-таки природная среда. Я, пожалуй, не знал ни до, ни после такого полного бескорыстия. О каком-то дешёвом тщеславии и говорить не приходится.

Мне хочется думать, что этому отношению я у него хоть сколько-то научился (да и обстоятельства жизни «помогли»).

В середине 1980-х Фёдор с женой уехали в его родной Погар Брянской области. Голос родины позвал? Не знаю. Томску, его ближним и дальним углам был отдан значительный отрезок жизни (1962–1985). В Погаре опять газета, а потом – бац! – и он уже с 1990-го народный депутат Российской Федерации. И я смотрю по телевизору его выступление о последствиях для родного края Чернобыльской катастрофы. В 1993 году он издал свои стихи в сборнике «Ветер», а три года спустя подарил мне с такой надписью: «Стародавнему другу Владимиру Крюкову с пожеланием успехов в поэзии да и во всём остальном, от всей души». Был он тогда в командировке в Томске. Повидались до обидного кратко: у него дела, да и знакомых немало. Потом я видел у одного общего приятеля толстую, 500-страничную книгу с портретом автора. «Роза ветров: 2000 восьмистиший».

Летом 2012 года я получил от него письмо, обычное, почтовое. Почерк выдавал больного человека, да и фразы не отличались последовательностью. Это был ответ на получение моей книги «Стихотворения» 2009 года.

«Володя, здравствуй! Не ожидал потрясения от близкого человека: за две недели чтения твоей книги я раз двести смотрел на фото. Ты так выглядишь, хотя на самом деле моложе меня. Ах, время! Гениальный снимок. Старик. Седой, как рыба. И так близок мне. Я ведь был твоей чернобородой копией. (...) Я раньше был знаком со стихами «С открытым окном», «Созерцанье облаков». И сейчас эти книги у меня. Но как ты вырос! Хотя я зря начал о стихах, это впереди. (...) Если удастся пожить, значит, удастся сказать. Получил вчера письмишко от Михаила Казанцева. Хотя писать мне трудно, но пишу. Правда, стихи оставил лет пять назад. Ну вот Казаркин не пишет, хоть обещал, и Галя тоже сулила. Но не соберутся никак. (...) Через недельку обратись с этим вопросом. А мне сообщи его телефон. (...) 23.07.12. До встречи в Погаре».

Несколько раньше он звонил, зазывая в гости. Но я не собрался.

А весной 2014-го, разговаривая с ним по телефону, почувствовал, что он плох.

Вскоре в «Одноклассниках» обнаружил Александру. Они уже не жили вместе. Когда он заболел, новая молодая избранница оставила его. Пребывал в одиночестве в Погаре.

18 января 2016 Саша написала: «Дочь ездила к Фёдору, устраивала для него лазарет на дому. Он никуда не выходит».

4 июня того же года пришло такое письмо: «Фёдор умер 29 мая. Мы всей семьёй ездили на похороны. Помяни добрым словом».

Стихи Фёдора ГОСПОРЬЯНА**В ЭТУ НОЧЬ**

Как сладко в эту ночь спалось!
В лесах спал лось, в постелях – люд.
Стояло в небе семь полос –
Как бы безумствовал салют.

Стучал в посуду сок берёз.
И время падало – как сок.
Как сладко в эту ночь спалось,
Как сочен в эту ночь был сон!

Когда рассвета полоса
Затмила в небе семь полос,
Я слышал леса голоса –
Как сладко в эту ночь спалось.

НА ОБЛАСКЕ

Меня глазами обласкав,
Проходит девушка по берегу.
Я – укротитель обласка,
В меня волна летит с разбегу.

А надо мною – облака
Плывут, наверное, в Америку,
Меня глазами обласкав,
Уходит девушка по берегу.

Припомню ночью не реку,
Не облака. Не волн нашествие –
Ту ласку в сердце берегу,
Влюбляюсь в девушку ушедшую.

С ОГЛЯДКОЙ

Скороговоркой обо всём,
За всё хватаясь разом,
Не совершим и не спасём,
Лишь обессилим разум.

Ты в нетерпении, душа,
В своём стремленьи к счастью,
Но только – тише поспешай,
Оглядываясь чаще

Назад, где краснобай соврёт,
Недорого берущий...
И всё настойчивей – вперёд,
В богатство правды сущей.

РАДУГА

Издалека, из-за Уртама,
Тянулась радуга до туч,
Картавил гром и, как подранок,
Валился дождь, певуч.

Он падал истово и сладко,
Как послесловие к любви.
Гордясь красивою посадкой,
Шёл катер по Оби.

По палубе навстречу ливню
Шла девушка на самый край –
И палуба цвела улыбкой,
Чиста и вся мокра.

Пел ветер голосом гортанным,
Шёл гром, выстукивая туш.
Издалека, из-за Уртама,
Шла радуга до туч.

В ГОДАХ

Красавица в годах,
Да всё равно прелестна.
Издёвка не годна,
Ухмылка неуместна.

На лепку тонких скул,
Глаз искру удалую
Смотрю, на слово скуп,
Да мысленно целую.

Ах, не рискну сказать,
Наверно, и два слова
Да с ней себя связать
Единою основой...

Красавица в годах
Не лжёт, не льстит, не липнет.
Нужней вина – вода:
Не станет горько-лишней,

Вовек не надоест.
Не скиснет, не приестся...
Желаннее невест
Та, что в годах – прелестна.

КТО?

Сон: в проулке лежу неживой
Иль чуть жив, истекающий кровью
То ль от раны сквозной ножевой,
То ль убитый бездарной любовью.

Да пытаюсь осмыслить во сне
Несуразность, творимую с нами:
Вот ты умер, а кто же вослед
Понесёт твою душу как знамя?

Сын не сможет. Пенять на него
Нет причин да пустые заботы...
Остаётся всего ничего
Этой жизни да этой свободы.

Поводом для статьи послужили гастроли Национального драматического театра им. П. В. Кучияка Республики Алтай в октябре 2021 года, во время которых был показан спектакль «Восхождение на Хан-Алтай», посвящённый жизни и творчеству первого профессионального художника Алтая, просветителя и этнографа Г. И. Гуркина (1870–1937). В фойе театра драмы была открыта выставка репродукций произведений художника из собрания Национального музея Республики Алтай им. А. В. Анохина, которую представляла директор музея Римма Михайловна Еркинова – известный исследователь творчества Гуркина. Перед спектаклем она посетила Томский областной художественный музей, встретила с сотрудниками и посетителями музея. В постоянной экспозиции музея представлено самое известное, программное произведение художника «Хан-Алтай». Это одно из 19 произведений Гуркина, хранящихся в собрании Томского художественного музея.

ГРИГОРИЙ ГУРКИН, ПЕВЕЦ АЛТАЯ

В начале XX века творчество Григория Ивановича Гуркина – самого известного сибирского художника, алтайца по происхождению – приобретает характер связующего звена между культурой его народа и художественной жизнью Томска. Во многом это происходило не только вследствие непосредственного контакта зрителей и произведений Гуркина, но и благодаря публикациям о нём Г. Н. Потанина, А. В. Адрианова, томских художников и прочих корреспондентов в томских газетах.

В сознании многочисленных посетителей выставок Гуркина в Томске его имя начинает ассоциироваться с понятием «сибирская живопись». Выдающаяся роль художника в разработке сибирского пейзажа была отмечена при первом его появлении перед томской публикой на первой передвижной сибирской выставке 1903 года. Художник только прервал свою учёбу в Академии и начал активнейшую самостоятельную творческую работу, а в газете «Сибирская жизнь» за 1905 год прозвучало утверждение: «...В настоящее время трудно найти такого интеллигентного сибиряка, который бы не слышал имени Гуркина».

В крупнейшее художественное событие первого десятилетия XX века, подлинный «праздник живописи» в Томске вылилась выставка Гуркина 1907 года. Художник предложил зрителям небывалую по масштабам выставку – 300 живописных и графических работ. Выставку посетили 5000 горожан. Самый крупный томский художник Л. П. Базанова отметила новое явление в культурной жизни города: публика почувствовала вкус к покупке картин. Из выставочных залов значительное число произведений переместилось в дома томичей.

С колоссальным успехом в 1910 году прошла следующая выставка Гуркина, выросшего в мастера эпического сибирского пейзажа. С 224 выставленными произведениями познакомились около 4000 посетителей. Интересные факты содержит экземпляр каталога этой выставки, хранящийся в Томском краеведческом музее, где карандашом напротив названий некоторых произведений вписаны фамилии 25 томичей, купивших их. Многие из них известные в го-

роде люди: председатель правления Томского общества любителей художеств (ТОЛХ) Ф. Я. Несмелов, профессора университета Б. П. Вейнберг, М. П. Боголепов, М. Г. Курлов, доцент М. П. Бобин, этнограф В. И. Анучин, писатель Г. Д. Гребенщиков, директор частной женской гимназии Н. А. Тихонравова, общественный деятель, этнограф А. В. Адрианов...

Названия картин с множеством точных географических названий Горного Алтая таинственной музыкой чужого языка входили в души как коллекционеров, так и читателей газеты, вызывая желание увидеть Катунь, Каракол, Белуху, Архыт, Анос, делая их знакомыми. Алтай становился ближе. Без сомнения, значительную роль в этом играли и охотно раскупавшиеся томичами каталоги выставок Григория Ивановича, содержанию и оформлению которых сам мастер придавал огромное значение. Украшенные его рисунками на обложке, литературными эссе и стихами каталоги приобретали для томичей характер уникального издания. Известно, что на выставке 1910 года было продано каталогов на сумму 144 рубля, а поскольку каталог стоил 10 копеек, легко сосчитать, что в городе их могло быть закуплено около полутора тысяч экземпляров. В наше время эти издания представляют собой раритеты. Для томичей, которые не могли себе позволить покупку картины, этюда или рисунка художника, напоминанием о них, кроме каталогов, служили фотографии-открытки подлинников, выполненные братом художника Степаном Гуркиным.

Неослабевающий интерес к творчеству художника отразила посещаемость третьей его персональной выставки 1915 года, представившей томичам 435 работ, среди которых 285 были живописными произведениями, в том числе было показано 80 картин, как новых, так уже знакомых по прежним выставкам из частных собраний.

Л. П. Базанова, анализируя пейзажи художника, писала об одухотворённости алтайской природы в произведениях Гуркина. Его картины позволяли многим корреспондентам газеты рассказать о народе, к которому он принадлежал. Эскиз «Юрта», показанный на выставке, позволил Г. Н. Потанину рассказать об особенностях строения двух видов юрт, возводимых в окрестностях Аноса, привести множество подробностей, помогающих воспринять особенности быта алтайцев. Сам художник также не упускал возможности рассказать об Алтае, поясняя сюжеты своих произведений во время встреч со зрителями, которые он практиковал на томских выставках.

Талант Гуркина, его самоотверженный труд снискали художнику огромную славу в Томске, пожалуй, ни к одному художнику здесь не испытывали подобных чувств. Создаётся своеобразный культ Гуркина, воплотивший в себе в немалой степени и интерес к алтайскому народу и его потенциальным творческим возможностям. Самая популярная в губернии газета «Сибирская жизнь» создаёт на своих страницах своеобразную хронику жизни мастера.

Поскольку отзывы и рецензии на выставки Гуркина довольно подробно освещены в литературе о художнике, приведём реже упоминаемую информацию, напечатанную в газете. Это описание корреспондентом под именем В. Ф. картин, которыми были увешаны стены мастерской художника; подробный маршрут путешествия художника к Белухе в 1908 году и поездки на Телецкое озеро в 1911 году; сообщение о трёхмесячном путешествии с Д. Кузнецовым до Кош-Агача, когда художник «побывал в каждой юрте», воссоздание красочной кар-

тины, которую представлял собой для путешественников на Алтай двор усадьбы художника, превращённый им в «оригинальный калейдоскоп растительного и минерального царства». Газета сообщала о внимании, которое Г. И. Гуркин оказал начинающим художникам и любителям, таким как Д. Кузнецов, самоучка Постников или священник Лавров.

Томичи были хорошо информированы об общественных заботах художника, например, о хлопотах Гуркина по открытию в Аносе школы, библиотеки, фельдшерского пункта. Они были в курсе множества дел художника, знали о его поездке в Москву в 1914 году для показа произведений в политехническом музее и воссоздания обряда камлания, для чего с ним ездил кам Болчок. Газета оповещала о разнообразных выставочных планах Гуркина: о желании устроить третью персональную выставку в городе в 1912 году (которая состоялась только в 1915), о намерении показать работы в столице, о мечте поехать на Байкал и за границу, и даже о намерении переехать на жительство в Томск. Григорий Иванович и сам выступал с публикациями в «Сибирской жизни»: в 1915 году он протестовал против некачественного издания альбома картин музея Александра III.

Произведения и выставки Г. И. Гуркина открыли для томичей «мир новый, мир чарующий, как ...неведомая сказка, полная чудес, манящая своей красотой и грандиозностью, заставляющая жить собой». Алтай, по словам художника Н. Г. Котова, превратился под влиянием признанного мастера сибирского пейзажа с 1908 года на несколько лет в настоящую Мекку. Алтайская тема стала ведущей в творчестве и на выставках томских художников.

Инна ТЮРИНА,
старший научный сотрудник
Томского областного художественного музея

Григорий Иванович Гуркин (12 (24) января 1870, Улала – 11 октября 1937), известный также под псевдонимом Чорос-Гуркин (по происхождению – телеут, представитель рода чорос) – российский и советский художник. Был учеником И. И. Шишкина (правда, всего полгода – на глазах у Гуркина тот скоропостижно скончался, работая за мольбертом). В Петербургской Академии художеств открылось его призвание – пейзаж. В 1903 году художник вернулся на Алтай и обосновался в селе Анос, работал учителем, женился. Гуркин быстро завоевал признание. В течение 1906–1915 годов художник объездил с выставками всю Сибирь и стал признанным классиком сибирской живописи. И в советскую пору талант художника был востребован. В 1937 году Гуркин был арестован и расстрелян по обвинению в организации подпольной националистической группы и шпионаже в пользу Японии (реабилитирован в 1956 году).

Александр Таразанов

КОСТИК

Два студента, плотный, лохматый Юрка Изотов и худощавый, коротко стриженный очкарик Паша Смородинов, стояли на набережной Томи и высматривали среди нескольких теплоходов, на каком из них отправятся на практику.

– Здорово, практиканты!

Оба оглянулись. Позади стоял с серьёзным видом пузанчик.

– Здравствуйте, – в один голос ответили ему практиканты.

– Будем знакомы. Я Углов Иван Иванович, ваш куратор по практике. Прошу любить и жаловать. А теперь за мной. Шагом марш!

Парни, подхватив лежащие у их ног рюкзаки, направились за ним. Углов привёл их к белоснежному толкачу-теплоходу, к его тупой носовой части был учален паузок. По трапу прошли на него. Он больше походил на дебаркадер. Углов завёл парней в жилое помещение.

– Мужики! – обратился к четырём сидящим за большим столом. – Молодёжь мне не обижать. Я вроде понятно сказал? – И оглядел всех сидящих. – То-то и оно...

Выходя, оглянулся и показал всем здоровый кулак. Когда ушёл Углов, минуте молчания нарушил седой, возрастной бородач.

– Иваныч мужик нормальный, – глянул он задорно на ребят, – ему по-бригадирски так положено изобразить своё влияние, а что касается вас, вы уже услышали. А сейчас будем знакомиться. Я Андрей Павлович, – хлопнул он сам себя по груди. – Тот, который самый молодой, это Семён, – худощавый парень молча привстал и сел обратно.

– А я Яшка, – сидевший рядом с Семёном кучерявый парень с аккуратной бородкой нехотя приподнялся и сразу опустился на своё место. Он чем-то был похож на цыгана из кинофильма «Неуловимые мстители».

– Василь Харитонович, или Харитоныч, – встал и вышел из-за стола круглолицый с весёлым взглядом мужик. – С командой теплохода потом познакомитесь. Нынче мы опоздали выйти в навигацию на целый месяц. Двигатель с ремонта долго ждали. С прошлой осени. А теперь рассказывайте, кто вы такие и надолго ли к нам.

– Я Паша, – сказал о себе Смородинов. – А Юрка мой однокурсник. Мы к вам на практику, на месяц.

– Понятно, – ответил Харитоныч, – будет вам практика. Пошли, покажу вам вашу каюту.

* * *

Юрка с Пашей быстро вошли в курс своей практики, все задания выполняли с удовольствием. Работа их заключалась в выпайивании радиодеталей из

старых плат. За неделю ими была выпаяна одна треть плат, что находились в кладовой у Харитоныча. Сама задача бригады Углова состояла в том, что она занималась плановым ремонтом радиотелевизионных антенн. Тут работали асы своего дела.

Бригада Углова на двое суток застряла в Красном Яру. За день до их приезда прошёл сильный ливень. Ударил молния и выбила полностью комплекс ретранслятора. Посёлок остался без связи. И всё бы ничего, но местный партийный товарищ Зудов постоянно стоял над душой Углова. Секретарь ежечасно интересовался, скоро сделают или нет. Бригада работала в полную силу, им даже еду привозили из местной столовой. Практикантов тоже привлекли – а как же, блоки надо снимать и выпаявать оттуда сторевшие детали. Мужики пошли курить, Паша остался и внимательно рассматривал схему. Когда они вернулись, Паша изрёк:

– На сам ретранслятор нужно лезть и посмотреть концы, может, какой-нибудь отпаялся или подгорел в распределительной коробке, – и уверенно оглядел всю бригаду.

– А с чего ты взял? – Углов покосился на Пашу.

– Молниеотвод не сработал, и вырубился комплекс. Теоретически так, – ответил Паша.

– Ладно, посмотрим. Но завтра... – отрезал Углов.

– Но почему завтра, у нас ещё есть время, – возмутился Паша и покосился на Углова.

– Тебе сказано – завтра, значит, завтра. Ты что, самый умный? – рявкнул Углов на Пашу. – Бригада молчала. Не выдержал Юрка:

– Иван Иванович, ну нельзя же так... – И развёл руками.

– И ты туда же! – Углов кинул злой взгляд на Юрку. Громко кашлянул Андрей Павлович и выжидательно посмотрел на бригадира.

– Павел прав, пусть Яша наверх залезет и посмотрит контакты на клеммах.

– Ай, сделайте что хотите... – махнул рукой Углов и торопливой походкой пошёл, что-то бурча себе под нос.

Паша был прав, наверху полностью отгорели концы проводов. Хорошо, что был на проводах небольшой запас. Яшка на месте успел обработать все отгоревшие концы, зачистил и запаял к контактам распределительной коробки... Когда запустили комплекс, сразу сообщили Углову, который в это время, заломив руку за руку по-арестантски, ходил взад-вперёд во дворе комплекса. Услыхав такую новость, помчался докладывать, но успел на ходу крикнуть мужикам:

– Всем завтра выходной.

Собрав чертежи и инструменты, бригада всё хозяйство погрузила в «уазик-таблетку», и автомобиль повёз их к теплоходу.

* * *

Утром следующего дня вся бригада сидела в «кают-компании», так они окрестили огромное помещение с длинным столом в носовой части паузка. Молча пили чай, только не было Углова, который убежал к капитану теплохода Муранову Игнату Игнатовичу, и беседовал с ним за чашкой чая. Незаметно

почти все разбрелись кто куда, остались Юрка с Пашей и Харитоныч. Напялив на нос очки, Харитоныч беззвучно шевелил губами над разложенной перед ним газетой «Красное знамя». Иногда на его лице проскакивала кислая мина неудовольствия. Он морщился. Юрке с Пашей надоело просто так сидеть, они молча встали и вышли на палубу.

– Есть у меня идея, – предложил Юрка, – пойти и накопать червей для рыбалки.

– Увы! Лопата и банка понадобятся для этой цели, – и Паша замялся.

– Хм... А как насчёт удочек?

– Я видел их, они лежали на палубе в самом конце, – ответил Паша.

– Лопату у Харитоныча возьмём, а банку где-нибудь по дороге найдём. –

И Юрка дёрнул Пашу за рукав. – Пошли!

Паша с Юркой просидели на носовой корме паузка пару часов, и кроме нескольких ершей ничего не поймали.

– Выходной день почти прошёл, – с сожалением проговорил Юрка.

– Какой-никакой, но наш, – оптимистично отреагировал на его фразу Паша.

На нос кормы сел коршун и выразительно посматривал на парней.

– А вот и Костик прилетел. Привет, пернатый! – поприветствовал его Паша.

– Птица, наверно, голодная? – жалостливо глянул на коршуна Юрка.

– Слушай, – предложил Паша, – а давай отдадим ему наш улов, чего ершей жалеть?

Юрка полез в целлофановый мешочек и вытащил рыбку, и с ней тихонько пошёл к коршуну. Птица сидела и не шевелилась, иногда хищно моргала глазами, следя за действиями Юрки. И только ему оставалось сделать шаг, коршун, резко клюнув, схватил с его руки рыбку, взлетел на крышу паузка и начал там трапезничать.

– Скоро обед! Оставим ему? – предложил Паша.

– Не надо! – заявил Юрка. – Так мы его совсем приручим. Он молодой, видишь – брюшная сторона в бледно-охристом свежем пере. Ему только год.

– Надо же, – удивился Паша. – И откуда у тебя, Юрка, такая осведомлённость о птицах.

– Мой отец – учёный по птицам. Орнитолог. Мама тоже с ним работает. Семейная династия.

– А чего сам не пошёл учиться на орнитолога?

– Это не моё. – Он сморщился и продолжил: – Мой младший брат Виталий нынче будет поступать в университет на биолого-почвенный факультет. Вот и пускай дальше продолжает внедрять родительские идеи. А знаешь, с чего пошла у меня любовь к радиоэлектронике?

– Откуда мне знать? У меня отец инженером работает на телевидении. Так он меня туда водил постоянно. У меня это в крови.

– А у меня есть друг Олежка Сватов, мы с ним были не разлей вода, дружили с детского сада, а если точно – до тех пор, пока его не зачислили в Бауманское училище. Он олимпиаду по физике всесоюзную выиграл, ещё учась в девятом классе. И, чтоб от него не отстать, я взял и поступил в Институт радиоэлектроники и электронной техники. На вступительных экзаменах прошёл труднейший конкурс – пять человек на одно место. А чего тебе говорить, сам

проходил, знаешь. А почему я выбрал эту профессию? Объясняю. У Олежки отец – телемастер. Мы с ним часто заходили в мастерскую. Там подолгу зависали, где-то припаяешь проводок или отпаиваешь сгоревшую деталь в телевизоре или радиоприёмнике. А потом смотришь – заговорило радио или на экране начали показывать либо мультяк, либо фильм. Спасибо дяде Егору, что он приучил нас к этому делу.

Пока парни говорили, коршун, отобедав, снова сел на прежнее место.

– Ага, прилетел. Мало, видишь, оказалось, дали рыбки, – сокрушённо покачал головой Паша, глядя на коршуна, сидевшего и посматривающего в сторону ребят.

– Дай мне ещё, – попросил Юрка Пашу. Тот молча сунул ему рыбку. Коршун не стал ждать, подлетел, выхватил с Пашиной руки рыбку и резко взлетел. Но плавно приземлился, держа её в клюве, на пожарный ящик, стоящий в углу носовой части паузка.

– Что значит голод не тётка, – засмеялся Паша, глядя на птицу, которая безжалостно расправлялась с ершом.

– Там осталась последняя, я ему отдам. – Паша сунул Юрке пакет с рыбкой. Он вытащил ерша и кинул на палубу близко к ящику. Коршун встрепенулся, посмотрел на лежащую рыбку. Доклевав не доклёванного ерша, он спрыгнул на палубу и начал склёвывать новую подачку.

– Ладно, пусть Костик ест, а мы пойдём на обед.

– Я заметил, ты его Костиком назвал, причём уже второй раз, – с интересом глянул Юрка на Пашу.

– А у нас в группе был такой Костик Ткачук, вечно опаздывал на пары. Мало того, успевал хватать целую кучу незачётов, но зато он лучше всех нас читал схемы. После третьего года учёбы куда-то исчез. Через полгода наш куратор группы рассказал, что Костика нашли убитым под железнодорожным мостом. Труп было невозможно узнать. Мать с трудом его опознала по родинке. Сначала Костика убили, а потом сбросили с моста. Он был тихим, замкнутым парнем и ни с кем в группе не дружил. За что убили – непонятно.

Паша глянул на Юрку, а потом на коршуна.

– Печально! – с сожалением сказал Юрка.

– Да не говори, – поддакнул Паша.

– А что с убийцами? Нашли? – глянул Юрка на Пашу.

– Не нашли. Очень редко таких негодяев находят...

* * *

Середина августа. Пристань Колпашево. Теплоход с паузком приткнулся к берегу. Последний день практики у Юрки и Паши. Настрой у обоих самый обыкновенный. Юрка с Пашей, словно герои дня, сидят за столом на видном месте. Через час на «Ракете» эти парни укатят в Томск. Встал Углов и заговорил.

– Спасибо вам, вы хорошо поработали. Так что приходите к нам после института. Мы вас ждём.

Он поднял бокал и залпом его осушил.

– А сейчас, – поторопил он парней, – вы должны успеть на посадку. Все шумно встали и направились к выходу...

* * *

Год спустя заросший и бородатый Юрка с рюкзаком ступил на трап знакомого паузка и, очутившись на палубе, услышал знакомый голос:

– Это кто же к нам пришёл?

Юрка обернулся. Харитоныч стоял перед ним и улыбался.

– Ты к нам как? Или проездом?

– Да насовсем, если примете, – улыбнулся Юрка.

– Примем, ещё как примем. Милости просим, – махнув рукой, указал, чтоб Юрка прошёл в сторону «кают-компании».

– А чего один?

– Я звал Пашу, а он к отцу пошёл работать, – обернувшись, сказал Юрка.

– Ну, это его личное дело. – Харитоныч замолчал. Спыхватился:

– погоди! Ваш коршун Костик до конца с нами путешествовал, мы его не обижали, еду давали. Утром Яшка пойдёт с удочкой и наловит несколько штук. Однажды встали возле Иглаково, уже когда возвращались в город, а тут – два выстрела. Мы повыскакивали – что такое? Оказывается, Костика убил местный житель, он объяснил так: видел, как коршун напал на цыплят в его дворе. Одного схватил, понёс. Конечно, такое могло случиться. Коршун-то – хищная птица...

– Видимо, судьба у них такая, – вслух сожалея, вспомнил Юрка о другом Костике, найденном убитым под мостом несколько лет назад. Там человек, тут птица. И обоих звали Костиками. Настигло их невезение, а может, мистика какая-то.

Харитоныч не понял Юркину речь, подтолкнул его:

– Давай шагай!

И ещё Юрку поторопил:

– Не стой, там все наши собрались...

Анна Корсунова

ДВА РАССКАЗА

МЫШЬЯК

Юля не любила английский. Вот абсолютно! Слова не запоминались, грамматика в голове путалась, а от произношения у самой уши в трубочку сворачивались. Кому-то родители с первого класса репетиторов нанимали, другие так ещё до школы на спецкурс ходили. А Юля всё детство мультики смотрела в дубляже и даже не собиралась другие языки учить – зачем, если всё нужное уже переведено?

Но в пятом классе появилось много новых предметов, в том числе английский.

Сначала было ещё легко: научилась говорить, как меня зовут, считать. Но когда дело дошло до составления предложений, начался кошмар! И «англичанка» Ирина Викторовна принесла в класс плюшевых мышат в шарфиках, которые вязала сама.

– Children! Do you want these toys?¹ – спросила она.

– Да! Йес! – закричали дети – кто по-русски, кто по-английски.

– I'll give the toy to those who do well in my class. But to have it you need to get three blue and red ribbons².

Юля очень хотела получить мышонка – маленького, размером с ладошку, с бархатно-коричневой шкуркой. Она даже придумала, как его назовёт – Мышьяк. Но сначала надо собрать ленточки, а их дают только за пятёрки.

Скоро одноклассники уже ходили кто с одной, кто с двумя ленточками, специально цепляли их на ремешки сумок, ручки рюкзаков, чтобы всем было видно. Некоторые даже игрушки уже получили и важничали. А Юля так и сидела – без ленточек, без мышонка. Было обидно. И как-то вечером она открыла учебник.

Поначалу было трудно заучивать слова и самостоятельно разбираться в правилах. Юля долго не могла понять, почему, например, столько вариантов слов «рисовать» и «говорить», какая разница между «nobody» и «no one». На таблицу времён вообще страшно было смотреть. Но она упорно зубрила, хотя каждый раз после получения оценки всё само вылетало из головы.

Потом Юля заметила, что некоторые английские фразы в фильмах и песнях звучат знакомо. В компьютерных играх, в которых она раньше просто сражалась с монстрами, строила дома и города, бегала, летала, собирала монетки, кольца или кристаллы, оказывается, были интересные сюжеты. Юля уже не просто тыкала на случайные кнопки, а переводила со словарём реплики пер-

¹ Дети! Вы хотите такие игрушки?

² Я подарю их тем, кто будет хорошо учиться. Но сначала каждый должен собрать три синие-красные ленточки.

сонажей, понимая, чего от неё хотят. Скоро она уже пыталась вести на английском воображаемые беседы, мысленно переводя свои и чужие фразы. Правда, когда её на уроке о чём-то спрашивала «англичанка», она отвечала ещё медленно и неуверенно.

Юля так увлеклась английским, что не обращала внимания на собранные сине-красные ленточки – они лежали на дне рюкзака, придавленные учебниками и журналами с комиксами на английском, которые она читала на переменах и тайком на уроках.

– You did a good job! Well done!³ – сказала однажды Ирина Викторовна и торжественно вручила ей игрушку с розово-белым шарфиком.

А Юля забыла, ради чего начала так усиленно изучать язык, и немного растерялась. Но потом взяла мышонка – такого маленького, размером с ладошку, с бархатной коричневой шерсткой – и ей стало так тепло и радостно.

– Как ты его назовёшь? – спросила Рита, подружка по парте.

– Мышьяк.

– Почему Мышьяк?

– Просто так, – пожалала плечами Юля. – Подходящее имя для мыши.

– Или фамилия, – засмеялась Рита.

Юля усадила мышонка на парту, а после урока положила в рюкзак. И он пошёл с ней в школу на следующий день. Так он и проучился с Юлей весь год. Что только не пережил этот мышонок: его кидали через весь класс, швыряли друг в друга, забрасывали на шкаф. У других тоже были мышата, но они быстро прятались в карманах и рюкзаках, и только Мышьяк продолжал свои полёты.

А на уроке технологии случилась такая история. Учительница вышла из кабинета, а одноклассницы начали кидаться Мышьяком, и отважный мышонок, пролетев через весь класс, утонул в кастрюле с супом. Когда вернулась учительница, она помешала суп, поднесла ложку ко рту... И тут в кастрюле всплыла мышь.

Учительница недоуменно подняла брови и застыла:

– Это что такое?

– Мышьяк! – радостно закричали девочки.

Долго же потом пришлось её успокаивать и объяснять, что Мышьяк – это имя. Или фамилия.

А мышонка Юля постирала и усадила дома на полку. Так он там и сидит – хватит ему приключений!

МОНЕТКА

Утром Лена спрыгнула с кровати и услышала, как на пол что-то с лёгким звяканьем упало и покатилося.

Она посмотрела под ноги. Возле тапочек ничего не лежало. Она села на колени и огляделась внимательнее.

Возле тумбочки лежала монетка – тоненькая, с ноготок! Откуда она взя-

³ Ты хорошо поработала! Молодец!

лась? Лена положила её на ладонь и побежала в комнату к сестре, которая лежала и тыкала пальцем в телефон.

– Тань, смотри! – Лена вытянула ладонь прямо ей в лицо.

Таня нахмурилась, бросила взгляд на монетку, пожала плечами и снова уткнулась в телефон:

– Десять копеек – да на неё даже спички не купишь.

Лена не знала, сколько стоят спички, но, наверное, очень мало.

– А если таких будет десять?

– Всё равно не купишь.

– А сто? – не унималась она.

– За сто можно.

Лена задумалась.

– А если их будет миллион! Это тогда... тогда я буду... этим... Миллионером!

– Копейконером, – засмеялась Таня.

Лене слово понравилось. Но где найдёшь столько?

Монетка упала, когда Лена спрыгнула с кровати. А где была до этого? Лена осмотрела себя: карманов не было ни на пижамной кофточке, ни на шортах. Где она тогда лежала?

И тут Лену озарило.

– Тань, помнишь, мы вчера мультфильм смотрели про золотую антилопу?

– Это ты смотрела, – буркнула Таня.

– Она ходила, а с неё деньги падали! Может, я тоже золотая?

– Антилопа? – захохотала Таня.

– Нет.

– А что?

– Ничего. Просто золотая.

– Как это? Просто золотых не бывает. Золотое всегда что-то должно быть.

Ничего-то у неё не бывает! Лена зажала монетку в ладони и побежала обратно к себе. Монеток не было. И вообще, она уже столько ходила, а ничего с неё не сыпалось. Или Лена недостаточно сильно топала? Она попробовала ещё раз. И ещё. И ещё. И прыгнула!

В комнату заглянула мама и спросила заспанным голосом:

– Ты чего так топаешь?

– Монетку ищу.

– Какую?

– Десять копеек.

Мама постояла в дверном проёме и зевнула.

– Ищи потише, пожалуйста. Мы ещё спим.

Она ушла.

Лена положила монетку на тумбочку, заглянула под одеяло – вдруг где-то ещё одна денежка завалилась?

Когда она накопит много монеток, она каждый день будет ходить в аквапарк и есть мороженое три раза в день (вместо каши, супа и тушёной капусты). Или даже завтракать, обедать и ужинать в том кафе, где стоит автомат с игрушками и где готовят вкусный молочный коктейль. И купит себе ком-

пьютер. А то за общим ей удаётся посидеть всего полчасика в день, потом её выгоняют: то папе надо поработать, то маме погоду посмотреть, то Тане с подружками попереписываться.

Лена сдёрнула одеяло на пол, внимательно осмотрела кровать. Потом стащила подушку на скомканное одеяло и попыталась достать край простыни. Она слышала от кого-то из взрослых, что деньги любят прятаться под матрасами. Может, чтобы люди лежали на них и думали, какие же они богатые?

Лена потянула простынь на себя – ни в какую!

Она стала вытаскивать её по шепотке – туго натянутая простыня пошла складками, сморщилась.

Лена крепко сжала края в кулаках и ка-ак дёрнула! Простыня взлетела вверх парусом, и Лена упала, ударившись плечом о тумбочку.

На матрасе никаких монеток не было, только продавленная ямка посередине. Лена вытащила матрас из деревянной коробки – и там ничего не оказалось.

Может, они, эти монетки, прилетают откуда-то из другого мира, и надо только подождать...

Она посмотрела на тумбочку – монетки не было. Ни рядом с тумбой. Ни под тумбой. Ни за ней. Ни даже под кроватью...

Лена села на подушку и заплакала.

– Доча, что слу... о господи!

Это была мама. Она быстро подошла к Лене, положила ей руку на плечо.

– Я денежку пот-теряла... – всхлипывала Лена.

– Какую денежку?

– Десять копеек. Я её н-нашла и пот-теряла...

Мама села рядом на пол и похлопала её по коленке.

– Ну-ну, не плачь. Десять копеек – это ерунда. На них не купить даже...

– Спички?

– Почему спички? – удивилась мама. – Даже чупа-чупс.

– А спички можно?

– Зачем тебе спички?

– Просто так.

Лена посмотрела, вытерла краем простыни щёки и глаза.

– Ладно. С деньгами всегда так: как пришло, так и ушло, – мама встала. – Давай, умывайся. Вот позавтракаем, а потом пойдём мороженое купим. Хорошо?

– Да! – согласилась Лена и поднялась следом.

Но перед тем, как выйти из комнаты, на всякий случай ещё раз подпрыгнула.

В начале 1960-х на историко-филологическом факультете Томского университета появились два новых лирических поэта – Валера Сердюк и Володя Пономарёв. Они не успели получить признание. В те годы студентов забирали в армию прямо из вуза. Правда, им было предоставлено право по возвращении продолжить обучение. Сердюк и Пономарёв успели сдружиться, их армейская переписка была интенсивной и взаимно полезной (Валера жалел о потере писем). Но вернулся и окончил ТГУ один Сердюк.

Володя Пономарёв перепробовал разные занятия. Было время даже служил в Моряковском храме (Томский район). И не переставал писать стихи. Многие ценили его поэму «Проня», написанную ярко, с настоящим эпическим размахом не без влияния Павла Васильева.

Стихи Пономарёва печатала томская молодежка, имя его было на слуху. Потом он из Томска исчез, уехав на родину, в новосибирские края. Несколько лет назад я, приобщенный к Сети, увидел его имя в окошечке Фейсбука и написал, обращаясь, как было у нас принято «Пономарик», предлагая общаться. Молчание было мне ответом. Я немного расстроился.

И вдруг на его поле появилась запись: «Сообщу вам горькую весть. Пономарика не стало 24 апреля 2020 года после тяжелой продолжительной болезни. Вечная ему память в наших сердцах». Я спросил, кто мне написал. Получил ответ: «Меня зовут Людмила. Володя мне много рассказывал про своих друзей. Скорбь от утраты нашего дорогого друга не утихает. Издана книга, экземплярами которой с радостью поделюсь с его друзьями».

Сборник стихотворений Владимира Пономарёва «Пристань» напечатан в Новокузнецке в 2015 году.

Владимир Крюков

Владимир ПОНОМАРЁВ

ОДАРИ ЛЮБОВЬЮ

ЯКОРЬ

Это я ли – одинокий
У друзей,
В своём доме?
Это я ли стал жестоким
К переулку твоему?

Я ли,
Как тебя встречаю,
Отмечаю на душе,
Что нетронутой ночами,
Той девчонки нет уже?

Оттого ли я унылый,
Временами сам не свой?
Твой ли это ходит милый
Над моею головой?

Это ты ли
возле окон
На плечо легла к нему?
Это я ли стал жестоким
К переулку твоему?

Мне ли стало одинаково,
Куда обиду класть?
У меня ли сердце – якорь:
Бросил –
Цепь оборвалась?

* * *

Я иду.
Надо мной
Комары и звёзды.
Я иду к тебе одной.
Я приеду поздно.

Я приеду – отворю
Из дерева двери.
Ничего не говорю.
Никому не верю.

Напои меня водой.
Поведи бровью.
Одари меня бедой.
Одари любовью.

ПОСЛЕДНИЙ АВТОБУС

Я встретился снова с тобою
С тем, чтобы навеки расстаться.
Не с тем,
Чтобы вспомнить былое –
Совсем чтоб разочароваться.

И в сердце ни грёз,
Ни мечтаний.
Затихло оно, успокоясь.
Огнями сверкнув на прощанье,
Всё мчится
Последний автобус.

РУЧЕЙ

Пробив собою глину сонную,
Прозрачный,
Бурный
И ничей,
Вливая жизнь в реку огромную,
Летит стремительный ручей.

Река,
Хоть в ней и пляшут камни,
Собой обязана ручью.
Я не хочу
Быть
Обтекаемым.
Я быть
Стремительным
Хочу.

КОФЕ (инструкция)

Перекипит и остынет душа.
Жизни утихнет хмель.
В белый кофейник налей, не спеша,
Чистой воды налей.
Горсточку кофе в него положи
И – чтоб аромат спасти –
До кипения доведи,
Только
Не кипятить.
Пей, не дыша, потом.
Не спеша.
Знойно оно на вид.
Вот и моя, и твоя душа
Чёрным огнём горит.
Вновь отогрелась
И просит своё:
Сильною быть
И – петь.

Ты доводи до кипенья её,
Но не давай
Вскипеть.

ПЕРЕСУДЫ

Пересуды...
Что им, судьям нужно!
Нас ли пережёвывать с тобой,
Связанных невзгодами
И дружбой,
И во многом схожею судьбой!

Всё равно
Сугробами босыми
Не укроешь
Буйства зеленей.
Слухами облапанное имя.
Не черней по сути,
Не черней.
От молвы ни хуже

И ни лучше,
Если на двоих –
Единый путь.
Ну а люди
Разве что получают,
Если разлучат
Кого-нибудь...

ПРЕДЗИМЬЕ

Иней уж не тает.
И река мелеет.
Забережья край
Хрупко леденеют.

Все суда без груза
Льнут к причалам жалко.
По каналу шлюза
Проплыла русалка.

ЕДУ

Вот оставил уголок.
Еду, куда тянет.
Дома давит потолок.
Дома
Стены давят.

Этот дом кому-то дан
А кому-то не дан.
Никогда я,
Никогда
Не был домоседом.

Вновь – туда!
И снова мчу.
А когда случится,
Зартачусь:
– Не хочу
умирать
В больнице!

ЗАНАВЕС

Терпя застой,
Я никуда не ездил.
Да и сейчас не хочется.
Поверь!
Большой
Железный занавес
Разрезан
На миллионы
Запертых
Дверей.

ЗВЕЗДА

Я ей придумывал название.
Она была моей звездой.
Когда в ночи рассвет вызванивал,
Ей любовались мы с тобой.

Но в жизни получилось иначе:
Моя далёкая звезда
Осталась Альфою Возничего,
А ты – чужой.
И навсегда.

НА КАНИКУЛЫ

Прихватив пирожков капустных,
От недавних успехов пьян,
Я несу,
Уже второкурсник,
Немудрёный свой чемодан.

Дни каникул ждут меня очень.
Тепловоз,
Побыстрей гуди!
Общежитье,
Бессонные ночи,
И экзамены позади.

Всё качнулось,
Пошло,
Поплыло.
Утонуло в далёком дыму.
И чего-то вдруг
Не хватило,
А чего –
Я пока не пойму.

Карандаш по столу катаю.
Убегают столбы гурьбой.

То ли дом я свой
Покидаю,
То ли еду
К себе
Домой.

КНИГИ

Их читают,
С собою берут в экспедиции.
Переплеты темны,
Но совсем не от времени.
И совсем не от времени
Потемнели страницы,
А от частого с ними
Соприкосновения.

Прикасались к ним много
Рукою.
Еще больше
Касались
Душою.

* * *

Весело и резво
По лыжне бегу.
Как арбуз разрезанный,
Солнце на снегу.

Споначалу – мягко,
А затем внавал,
Все лесные запахи
Снег
Расколдовал.

БЕРЕГА

Заговорили волны.
Растаяли снега.
А мы с тобой,
Безмолвны,
Стоим,
Как берега.

С собою нету сладу.
Разделены чертой –
Глубокою прохладой,
Прозрачной
Чистотой.

СНЕЖИНКА

Борису Овценову

Маленькая звёздочка
Мне в ладонь
Уткнулась,
Яркою снежинкой
Счастье
Обернулось.
Только – ах! –
Растаяла.
Как я
Просмотрел:
Загадать
Желание
Не успел.

ТАБЛЕТКА

С «косой» спознался сам.
Она взялась не робко.
И наполняется
Лекарствами коробка.

Ладонь на левый бок.
Другой в коробке шарись –
И, коль сподобит Бог,
Таблетку принимаешь.

И вновь живёшь, спеша,
Дивясь добру и свету.
А заболит душа –
И ни таблетки
Нету.

ПРОСЬБА

Дай Ты, Боже всеильный,
Не прейти ту между.
Слов «Россия, Россия»
Попусту не скажу.

Колоколит над ухом
Слов высоких буклет.
Только русского духа
В нём нисколечко нет.

НЕЧАЯННАЯ СТАРОСТЬ

С напряженьем в даль глазею.
И сказать бы «ах».
Всё мутнее и мутнее
Солнышко в глазах.

Но нечаянная радость
В ум вошла с утра,
Что ко мне приходит старость –
Мудрости пора.

Николай Серебренников

ОЧЕРКИ ВОСПОМИНАНИЙ

Лёха Халфин

Мария Леонтьевна написала о сыне рассказ «Игорь», но взять характер у неё не получилось, а Крюков в своём лучшем рассказе «Дар Даймона» изобразил Лёху чрезвычайно удачно. Казаркин в повести «После нас» дал интересный образ пришлого нарушителя спокойствия в университетской студенческой среде, но прежде, к сожалению, уничтожил, а новое написал в ином духе. Внесу свою лепту – документальную, без претензий на итоги.

Алексей Дмитриевич был не Халфин, а Камбалов, но все звали его по матери-писательнице Халфиным. «Надо же, как нас мать родила, – удивлялся он, – брата в весеннее равноденствие, меня в осеннее!»

К ней он относился очень уважительно и рассказывал, что в 1937-м она пережила в НКВД пять ночных допросов за то, что, работая завбиблиотекой совпартшколы, забыла изъять книгу «врага народа» Бубнова, – обошлось, видимо, потому, что бывшего наркома ещё не осудили.

Тёплую водку Лёха мог цедить маленькими глотками: «Мать однажды приходит из библиотеки злая: «Ты меня позоришь!» – она там, в Моряковке, алкоголиков обличала, а ей говорят: «Ты на сына посмотри, нам так не суметь: он в столовой водку пьёт, как чай, и пирожком заедает!»; «Мне в техникуме специально покупали бутылку, чтоб посмотреть, как я пью: я водку в тарелку налью, хлеба туда накрошу и сажусь в шахматы играть, и ложкой прихлёбываю».

Рано женившись, он быстро и развёлся – как бы по политическим мотивам: «Галина пришла с собрания, им там в уши надули про Чехословакию, говорит: «И правильно сделали, что войска ввели», – я как дал ей в рожу!..».

В Страстную субботу 3 мая 1975 года Зимин привёл его, подвыпившего, ко мне и познакомил, потом мы пошли через Томь к Евгению Михайловичу. На обратном пути Алексей рассуждал о культуре Великих моголов, об эффекте раннего Вознесенского, восхищался американским шахматистом Фишером, отказавшимся от матча с Карповым, рассказывал о Радеке и об Эрдмане в томской ссылке, прочёл басню Эрдмана «Однажды ГПУ Эзопа...» (лучший вариант), а когда добрались до трамвайной остановки на улице Плеханова – развеселился и стал приставать к человечку бухгалтерского типа, который испугался и, безбородый, сказал: «Отца Леонида не обидь», – Алексей же радостно возопил: «Да у него полный портфель просвинок! давай их отберём!».

Позже Ирина показала ему мою фотографию, – и он вскричал: «Да он же пьёт! веди к нему!».

Летом 1977-го Алексей забрёл к теплице, в которой паслись местные инакомыслящие, спросил, где тут «стасы всякие» (это Стаса возмутило: «Лёха не мог обо мне так сказать!»). Мог), – и ушёл. У теплицы он за три года появлялся раза три, но там, где чаю попить иль что покрепче и вволю потрепать языком, не задерживался никогда, даже за порог не переступал. Он считал, что Стас и К° слишком раскрываются, и называл нас эксгибиционистами.

Между тем, шёл слух, что Лёха стукач: это чепуха, – он не желал встряпаться в чужое, но его отвязный язык клеил к нему всякую нечисть. Однажды я выходил из автобуса, а он входил, и успел наказать кучу новостей.

Из писателей он высоко ценил Кафку, а кумиром был Хайдеггер, но в СССР статьи чуждого коммунизму философа не издавались, и Лёха жаждал из там-сям встречающихся цитат Хайдеггера составить относительно связный текст. В университетской библиотеке он крал реферативные сборники, издававшиеся для ограниченного пользования, бессовестно вырывал из книг страницы («Да кому это ещё нужно?») и засовывал их в носки, а потом раздавал выдержки кому угодно.

В 1981-м Мария Леонтьевна отправилась жить в дом престарелых – как бы ради материалов для творчества – и оставила квартиру сыну: та была на первом этаже небольшого каменного здания у сада Буфф, и Лёха, уезжая, бесшабашно оставлял открытыми огромные форточки.

Вскоре он женился на женщине с ребёнком, с коим самозабвенно водился. Жена вырезала деревянные солонки, а муж их раздаривал.

В 1982-м его зацепили по делу о самиздате как знакомого с А. Ф. Ковалевским. На суде Лёха бодро отоврался. «Классический процесс устроили, – говорил он про «чернышёвское» дело, – всё как положено: и раскаявшиеся, и нераскаявшийся, и отказник, и одного в психушку поместили...»¹

Когда я заимел свою квартиру, Лёха бывал у меня на Каштаке. Ему вшили имплантант эспераль, чтоб опасался потреблять спиртное, и Лёхе нравилось сидеть среди пьющих, – он так заводился, что казалось, будто выпил больше всех.

Стас Божко полушутя представлял меня с Лёхой как крайности – славянофила и западника, но тот вряд ли считал себя ортодоксальным западником и привёл ко мне католика-неофита Володю Дегтярёва, чтоб послушать классический спор западника и славянофила, однако Дегтярёв спорить со мной не стал (позже это знакомство отразилось на моей судьбе: через Дегтярёва и литовских диссидентов требование амнистии к 1000-летию Крещения Руси опубликовали на Западе).

Судя по словам Божко и Казаркина, на Лёху очень воздействовал Алексей Кубышкин, сын писателя, полусумасшедший с блёстками гениальности. У него Лёха позаимствовал ряд идей, и среди них про «синдром Маугли» – что энкаведистов часто набирали из безродной и беспризорной шпаны, прошедшей чистку мозгов в колониях НКВД. Я пытался отыскать подтверждение

¹ А. А. Чернышёв, специалист по баллистической экспертизе, виновным себя не признал и был приговорён к 3,5 годам заключения. К 1,5 годам приговорили признавших себя виновными геофизика А. Ф. Ковалевского и социолога В. М. Кенделя. Переводчику Н. В. Кашееву за отказ давать показания присудили 1,5 года угольных работ на ГРЭС-2 с вычетом 20 % зарплаты. Переводчик В. В. Арцимович те же 1,5 года досиживал в общем отделении местной психушки.

этому в ведомственной периодике 1920-х – 1930-х, дабы потом опубликовать материалы в самиздате, придумал Лёхе псевдоним *Г. Финн*, его порадовавший, но ничего не нашёл².

Псориаз терзал его так, что, приходя к Мигалкину, он раздевался до пояса, брал со стола нож и начинал с удовольствием шоркать спину: «Меня Крюков спрашивает: «Почему Николай тебя Суллой зовёт?» «Потому что Сулла, как и я, страдал чесухой». Я сказал: «В отличие от того Суллы я могу тебя звать Суллой мифическим. Сокращённо: Суламифь». «Нет, – без обиды ответил он, – я с этой дамой ничего общего иметь не хочу».

Его прочная кличка была – *Рыжий*, уж больно рыжекожим он выглядел.

С женой он развёлся и квартиру матери поменял на меньшую в Студенческом переулке. С бывшим пасынком Павлушкой дружески общался и после развода.

Как-то он позвал меня на калым – класть мягкую кровлю в пионерлагере электролампового завода. Нужно было ездить в село Калтай, и мы шли поутру к заводскому автобусу. Условясь не приходить, если начнётся дождь, я, когда с неба полилось, на работу не пошёл, однако Лёха у проходной появился и обозлился. Назавтра он сказал: «Привет! как жизнь?» – и хрястнул кулаком в лицо, а я – будто по заповеди «кто в тебя камнем, ты в того хлебом» – въехал ему буханкой по голове (потрясло меня и то, что человек, изучавший ритуалистику, сначала пожал мне руку, а потом ударил). Мы повалились на асфальт и стали тузить друг друга, пока нас не растащили: «Вы что! взрослые мужики!...». Почему потом всё вошло в прежнюю колею, не помню.

В марте 1988 отмечали 80-летие М. Л. Халфиной. Лёху позабавили стихи, прочитанные Крюковым:

*80! Вот-те на,
Мария Леонтьевна!*

23 ноября она через сына пообещала мне привлечь Союз писателей помочь в установке мемориальной доски Ключеву, но умерла на следующий день.

Лёха передал её архив и часть вещей в школу Моряковского Затона, заложив там основание музея Халфиной (в этом селе в 1949–1961 Мария Леонтьевна заведовала библиотекой).

В 1990-м, в очередной раз поссорясь со своей Галиной, которая закинула мои ботинки подальше, чтоб из дома не рванул, я в носках ступил в апрельскую слякоть и двинулся к Лёхе, в десяти минутах ходьбы живущему. Он посадил меня в ванной греть ноги под горячей струёй, заварил крепкий чай, побежал в магазин за водкой, и благодаря этому и на нервном взводе я не заболел.

Чай он экономил – сушил нифеля (спитую заварку) и затем их варил. Из калорийных продуктов как самое дешёвое покупал сметану.

² В интернетском очерке «Мой друг Володя Ширяев» Сергей Климов про Лёху пишет: «За свои “неправильные” рассуждения в самиздатских печатных изданиях он неоднократно привлекался к принудительному лечению...» – но тот никогда не выступал в самиздате и никогда не был на психиатрическом лечении по решению суда (при повторной принудке часто доходило до настоящего сумасшествия).

Он был уверен, что советский период кончается, и называл его ново-московским.

В промозглый день 25 октября 1990 года мы открывали мемориальную доску Клюеву в переулке Красного Пожарника. Пришли тринадцать человек: я и Б. Н. Пойзнер, сын Н. И. Геблер Саша Сапожков с женой, Р. И. Колесникова с её знакомым, Лёха с В. Н. Макшеевым, Л. Ф. Пичурин, П. А. Барсагаев да с телевидения репортёр, оператор и шофёр. Лёха прочёл первые двенадцать строк стихотворения «Пахарь», услышанные в 1960-х от М. П. Кубышкина, который слышал их в лагере от клюевского знакомого.

С 1992-го я жил на улице Белинского, и Лёха пару лет заходил по соседству. «Распустился Николаха, – сказал он между прочим мне обо мне же, – как чисто у него на Каштаке было! и что сейчас!» Зная, что сижу без денег, он однажды принёс хлеб, чай и масло.

Вероятно, он был способен к художественной прозе, – это проявлялось в устных артистических рассказах – например, в том, как он передавал монолог сумасшедшего (этот текст я записал, а Лёха проверил; возможно, только это от Лёхи и осталось):

«Тушканчики с сороконожками неладно живут, они сороконожков выгоняют. А чего ты смеёшься? Не одни у вас в университете биологи. А под корягой налим живёт. Там, где мертвец есть. В росистую погоду выходит на тело мертвеца. Там, где мертвец есть, он его объедает, обсасывает. А чего ты смеёшься? Почитай у Салтыкова-Щедрина, там два мужика налима ловили, так один чуть не утонул. Люблю природу. Одеваю галифе, френч и сапожки офицерские и иду глядеть природу. Птички поют, солнышко блестит. А ещё любил ходить на поминки».

Однако ж Лёха сочинял скучноватое бессюжетное произведение «Броккен против Сиона». Пару недель живя у Лёхи, я с этим опусом познакомился: Бог и дьявол играли в шахматы, рассуждали про всё и вся, а в мире творилась соответственная игре хреномать.

Зато хороши были статьи с анализом мифологем про козла и про триту (третьего сына) в колодце. Сам Б. А. Успенский написал Лёхе уважительные письма. «Теперь про козла в колодце пиши», – пошутил я.

Расставание в 1994-м оказалось скверным. Я заметил Лёху, который ждал меня на крыльце, но видеться ни с кем не хотелось, и с его глаз я ускользнул, а вернувшись через пару часов, обнаружил вскрытое окно: пропала банка с солёной капустой, плоскогубцы, десяток книг и среди них Тримингэм «Суфийские ордена в исламе», подаренная мне переводчицей, – сочетание краденого могло указывать только на Лёху. Случайно с ним встретясь на улице, я спросил, зачем он квартиру взломал. «С чего ты взял, что я?» «Тебя обрисовали». «Что ещё за художник!» – презрительно бросил Лёха. Больше мы не видались: я уехал в Новгород. Не знаю, лежит ли на мне грех навета.

Надумав обзавестись землёй («Буду редиску сажать и козу заведу!») и как фольклорный мужик, менявший лучшее на худшее, Лёха перебрался из городской квартиры в избёнку на Степановке.

Там, на Степановке, его и убили 27 сентября 1996 года: по общему мнению, из-за своего характера нарвался. Хоронили в закрытом гробу. Провожали его А. Ф. Ковалевский, Саша Кошляк, Игорь Мигалкин, В. Д. Колупаев, В. Е. Афонин, Александр Казанцев, Крюков и я. Мы с Крюковым на кладбище не поехали и помянули Алексея у меня.

Когда я поинтересовался у Мигалкина, можно ли у наследника забрать рукописи, Игорь сказал, что племянник их, скорее всего, уничтожит. Лет через двенадцать тот, человек весьма серый, мне это подтвердил: «Мы всё выбросили. Он был – беда семьи. Ничего интересного у него не было».

2011

Курьёзы с Лихачёвым

1995, Новгород

16 мая. – Лихачёв очень мило на утренней прогулке представился. Телевизионщики сняли меня на видео в холуйской должности открывания дверей «Волги».

Выступление Лихачёва глуповатое. Против гумилёвской горизонтали Евразии сказал за вертикаль Скандобизантику и что *никакого* влияния Востока на Русь не было! Зачем так? Вертикаль – Киевская Русь, горизонталь – Московская, наследие татар. Лихачёв понёс про окраинность варяго-греческого пути! Что за взгляд из Парижа? Достоевский у него оказался «на ½ романтик, на ½ реалист и на ¼ натуралист» – бредовая арифметика! Почему нельзя вовремя замолчать?

18 мая. – В сборник конференции из долгого выступления Лихачёва набрали текста приемлемого для печати, общих слов, на одну страницу.

1997

30 января, Петербург. – Фомичёв в сельский музей Пушкина в Могочино подарил своё издание «Бориса Годунова», заставил музей Пушдома подарить туда дубли изопroduкции, а вместо своего поздравления попросил меня написать нечто от имени Лихачёва на имя губернатора. Написал Крессу благодарность за могочинский музей, Лихачёв подписал.

*Главе администрации Томской области Виктору Мельхиоровичу Крессу.
Многоуважаемый Виктор Мельхиорович!*

Я узнал, что в пос. Могочино Молчановского района есть музей имени А. С. Пушкина, вот уже 25 лет существующий благодаря высокому подвижничеству Лидии Евгеньевны Пономарёвой, сельской учительницы. Деятельность коллектива, ею руководимого, не может не вызывать уважение и восхищение. Кажется, нет лучше примера, нежели тот, что избран здесь для духовного воспитания молодёжи. Сам факт существования этого музея в сибирской глубинке заслуживает всяческой поддержки.

Прошу вас передать Лидии Евгеньевне моё искреннейшее пожелание и впредь долго и счастливо трудиться на этом прекрасном поприще.

Академик Д. С. Лихачёв

14 февраля, Томск. – Кресс после лихачёвского письма отвалил могочинскому музею телевизор, магнитофон, музыкальную аппаратуру и 25 миллионов!

(2021 г.: Могочинское начальство вычислило женщину, попросившую устроить поздравление из Пушкинского Дома, и как-то наказало.)

А. М. Панченко

10 апреля 1996 на филфаке Новгородского университета в рабочем порядке открывалось первое заседание совета по защите докторских диссертаций. Мы с Володей Мусатовым, деканом, поутру пошли в гостиницу «Садко» проследить, чтоб приезжую профессуру доставили автобусом до места.

Академик Панченко курил на крыльце. Потом мы сидели в вестибюле, и он сказал, как ему нравится Новгород, и сыну нравится, – тот, филолог, с удовольствием приезжает на раскопки. Мусатов вспомнил, что со мной на кафедре есть человек, бывший с Панченко в аспирантуре и даже поработавший в литмузее Пушкинского Дома – Тюрин, длинный лысый кандидат наук, пытавшийся хохмить, и студенты метко, по телерекламе, его прозвали «Я весёлый Чупа-Чупс». Панченко усмехнулся: «Помню такого», – и по какой-то ассоциации заговорил о горбачёвской антиалкогольной кампании: «Мы в Пушкинском Доме отнеслись к этому серьёзно. Собрались. Каждый принёс с собой что мог. Выпили. Обсудили. Выпили. Организовали антиалкогольное общество. Избрали председателя – самого пьющего. Составили протокол заседания: всё как положено. Остатки допили и разошлись. Согласитесь, что подход к проблеме очень серьёзный, прочувствованный и методологически верный». Мы согласились.

Той весной ему было 59 лет, но он давно вошёл в образ пожилого, умудрённого жизнью, несколько усталого человека, могущего интересно и отнюдь не заумно рассуждать на любую тему.

Слава Кошелев, мой «завшкафом», рассказывал, как однажды Панченко, собираясь на встречу со студентами и преподавателями, спросил десятилетнюю дочку Вячеслава Анатольевича: «Деточка, о чём, ты хочешь, чтоб я рассказал?» – Сашка запросила какую-то тему, и Панченко поведал о ней так, что и ребёнок, и взрослые слушали с увлечением. Кстати, студентов он тоже звал «деточками».

Когда Кошелев решил повысить статус новгородского филфака и организовал здесь докторский совет, он пригласил Панченко стать его членом, но тот, побывав лишь на первом заседании, больше в Новгороде не появлялся.

Присутствовать при изложении диссертации, выслушивании оппонентов и прочей неременной мотне утомительно, а завязтому курильщику – невыносимо, однако Александр Михайлович отсидел и докторскую защиту, и после перерыва – мою.

Сюжет «А. М. Бухарев о проблеме возрождения «мёртвых душ» в творчестве Гоголя и Достоевского» увлёк Панченко. Он слушал и кивал. Мой оппонент Б. Ф. Егоров посетовал, что литературный критик Бухарев, знаменитый архимандрит-расстрига, оказался неизвестен пушкинодомским редакторам полного собрания сочинений Достоевского (к склочнику Фридлиндеру Борис Фёдорович относился без уважения). «Позор!» – бухнул Панченко. После выступления В. А. Сапогова, моего второго оппонента, и после моих ответов на вопросы зала предполагалась как бы обязательная полемика, но академик вежливо бросил: «Не надо полемики. Всё ясно. Присвоить звание». «Внеси эти слова в протокол», – сказал мне Кошелев. Возможно, они поспособствовали тому, что моя поспешно и скверно написанная кандидатская прошла утверждение высшей квалификационной комиссии. Академик же хотел поскорее перейти от официального действия к неофициальному.

На банкете в столовой, посидев сперва в стародавней компании пушкинодомцев, Панченко перебрался с рюмкою ко мне и заявил: «Это хорошо, что вы из грузчиков да из дворников. Я знаю, откуда живая вода течёт». Курильщики выходили в коридор, но Панченко спокойно задымил за столом. «Я вот тоже выучил польский язык самоуком, – с детской гордостью сообщил он. – Поляки про нас всегда разные гадости пишут, надо знать – что! – он погрозил пальцем. – Да это и полезно, это отрезвляет, мозги прочищает. Но вот они гадости пишут, а мы так себя держим, что и правду сказать не можем. Я давно хочу написать статью на тему «Кичливый лях иль верный россиянин?»».

*Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях иль верный россиянин?*

Как хорошо выразился, да? Пушкин-то знал, с кем правда, но смолчал. Даже отвечая «клеветникам России», смолчал! Штука в том, что они гадости писать-говорить способны, а мы – нет. Давно хочу написать, но никогда не напишу. А почему?.. Съедят! Свои съедят!.. Я был в Польше, – он перескочил на другую тему. – Я на какого-то их телеведущего похож. Пристал ко мне мужчина: «Пан N-ski, проше, автограф», – последнее слово Панченко почему-то, как оказалось, произносил не по-польски, а по-чешски, а чешский он тоже знал: *autogram*. – Я ему говорю: «Я не N-ski. Я Панченко». «Пан N-ski шутит! Проше, автограф». Я взял у него открытку и написал «Panczenko». Очевидно, он со мной стал ощущать себя неловко: я, дав жене слово, весь вечер пригублял фужер сухого, а он, выпив водку и подлив, сам за бутылкой второй раз не потянулся и меня покинул.

«Мудрец бородатый» попивал. Из-за этой пагубы, как рассказывал Кошелев, Александр Михайлович и его учитель древник В. И. Малышев потеряли подлинник послания Аввакума, – спали, пьяные, на телеге, и пока из деревни ехали – рукопись пропала; они бежали обратно, обыскивали всё вокруг, но так её и не нашли. Конечно, Кошелев мог приврать – по крайней мере, про Аввакума: он и обо мне сочинил, что расшифровку хомяковского названия «И.и.и.» я сделал... в камере владимирского централа; я выдать Кошелева не мог и пушкинодомцам 90-х казался фигурой исключительной и романической.

Часто наезжая в Петербург, я сталкивался с Панченко на втором этаже Пушкинского Дома, где сотрудники устроили курилку, чтоб не ходить в специальную комнатушку на первом. Обычно я здоровался, и он со мной заговаривал. Краткие, на пять-десять минут, беседы – об издательских делах, об общих знакомых, о ремонте здания – я забыл.

Запомнился разговор Александра Михайловича с молодым человеком, которого прислал актёр Михаил Боярский. Удивило, что Боярский допустил неуважение, не появись лично. Удивило, как легко Панченко согласился на участие в цикле аж «в 30–40 передач». Впоследствии это претворилось в телесериал «Боярский двор».

Последняя встреча была ужасна. Я в плохом настроении курил и не обращал внимания, кто стоит за спиной. Наконец он решил о себе напомнить и пробубнил: «Пойти домой... Наверное, жена суп приготовила». Я обернулся на знакомый голос: «Александр Михайлович! здравствуйте! – и ляпнул чужь: – Не узнал! Богатым будете!». Теперь растерялся он – помялся, докурил сигарету и молча ушёл.

Он умер 28 мая 2002, в 65 лет, как его друг и учитель В. И. Малышев.

В июне я решил взять у Панченко и Егорова интервью о провинциальной культуре и региональном самосознании. Через три недели после смерти Александра Михайловича я появился у Бориса Фёдоровича и услышал: «Меня резануло, когда вы сказали про интервью у Панченко. Он так тихо умер и так тихо его похоронили, что и я долго об этом не знал... Всё равно, – добавил Егоров, – он бы ничего уже не написал, пил много, только мог беседовать, – Егоров подбирал слово, и мы сказали вместе: – ...вальяжно».

Легко быть «совопросником мира сего», но трудно быть его соответчиком, понимающим праведника и грешника. У Панченко это получалось органично и, при барственности манер, даже красиво. Умный он был и очень добрый.

В моей записной книжке оказался номер его телефона, но не припомню, чтоб я почему-либо звонил.

2017

Виктор Юшковский

ЗВОНКОГО МИРА ВЕСТНИК

Маршрут поэтических странствий Игоря Славнина

Нет для поэта большего несчастья, чем забвение. Пусть ложно толкуют, ругают, несправедливо судят – всё что угодно, лишь бы читали. Лишь бы знали и помнили хоть что-то, хоть пару строк, когда строки и вправду того стоят. Поэзия, ставшая недоступной, исчезает, растворяется в вечности.

Увы, такова судьба творчества замечательного поэта Игоря Славнина, жившего одно время в Томске. Стихи его в двадцатые годы печатали лучшие столичные журналы «Октябрь», «Молодая гвардия», «Красная новь». Его поэтическое мастерство признавали такие мастера, как Леонид Мартынов, Николай Асеев, Всеволод Иванов. А получившие известность поэты Иосиф Уткин и Михаил Скуратов почитали его как учителя.

Но... рукопись первого и единственного стихотворного сборника после гибели поэта затерялась в недрах московского издательства. Кое-какие стихи оставались у друзей и в личных бумагах поэта, но они тоже утеряны. Остальные сохранились в газетных подшивках, на полосах старых сибирских и дальневосточных газет – в Томске, Омске, Иркутске, Чите.

Да кто ж станет листать подшивки...

Долгое время поэзия Славнина оставалась неизвестной даже специалистам. Его стихи не включали в сборники, они не входили в указатели и библиографические справочники. Иногда упоминание о поэте, правда, всплывало в какой-нибудь книге, но лучше бы этого не происходило, столько там было ошибок и неточностей. Словно предвидя это, поэт писал незадолго до смерти:

*О нас напишут тяжёлые книги
Седые потомки в круглых очках...*

Первым правдиво и обстоятельно заговорил о нём иркутский историк литературы Василий Трушкин: он вернул, по сути, из небытия это славное поэтическое имя. Показал масштаб и самобытность дарования известного некогда сибиряка. Только отзвуки дальних литературных событий услышаны были немногими.

Справедливая, точная оценка, сделанная десятилетия спустя, не принесла настоящего признания. Поэзия Игоря Славнина, незаслуженно забытая, продолжала оставаться как бы вне литературы и истории Сибири двадцатых годов.

ЕКАТЕРИНБУРГ

Первые стихи Игорь стал писать, видимо, в детстве, что было не удивительно: тогда, на заре XX века, за перо брался едва ли не каждый. К тому же в семье учителей поэзия почиталась особо. Игорь, как многие, бредил Блоком, читал наизусть Пушкина и Лермонтова, которые остались кумирами на всю жизнь.

Его родители, Ольга Ефимовна и Кронид Порфирьевич, преподавали в земской школе на Урале. Это были люди, словно сошедшие со страниц чеховских рассказов: умные, тонкие, интеллигентные. Потом мать умерла, и семья переехала в Екатеринбург. Отец был вынужден искать более хлебное место – устроился бухгалтером в Волжско-Камский коммерческий банк. Но благополучия это не принесло, семья по-прежнему испытывала нужду.

Зато дома была прекрасная библиотека, Игорь много читал. Судить об этом можно из того, что, не проучившись ни дня в начальной школе, он легко выдержал гимназические испытания. Поступил в Омскую классическую гимназию (семья переехала в Омск, когда ему исполнилось десять лет). В эту пору сформировались поэтические пристрастия, Игорь читал Брюсова, Белого, Серверянина, увлёкся футуристами.

Любовь к поэзии определила и жизненный путь: Игорь поступает на филологическое отделение только что открывшегося Пермского университета. Снимает угол, зарабатывает на жизнь репетиторством – и учится. Но долго проучиться в Перми не удалось: всё зашаталось, пришло в движение. Самодержавие пало, разгорелась братоубийственная война. Факультет переводят в Томск.

И вместе с филфаком переезжает студент Игорь Славнин.

ТОМСК

Некоторое время он учится в Томском университете, слушает лекции Азадовского, Даля, Верховского. Пытается что-то писать – и довольно толково, его творчество снискало благосклонность профессоров-филологов. Тогда же в печати появилась его первая публицистика: захваченный вихрем политических страстей, он размышляет о судьбах народа и интеллигенции. Причём решает задачу по-блоковски, в том же ключе.

Мир треснул, разлетелся, как зеркало, на тысячу осколков. Но поэту мир видится расколотым надвое: думая, что постигает «диалектику революции», он с юношеским максимализмом, крайне пристрастно, делит всех на «плохих» и «хороших». В ряду первых оказываются представители старого, прогнившего строя, а все надежды на лучшую, справедливую жизнь для него теперь связаны с классом трудящихся.

Опьянение революцией кружит голову:

*Мы радости новой вино извлекаем,
Сломаем сомнений лёд...*

Университет бурлит: великие события не оставили равнодушным никого. На улицах города выступают ораторы, каждый призывает к свободе и счастью. Только понимают счастье по-разному.

Ясно одно: прервалась связь времён. Остро, болезненно ощущает это Славнин:

*Прошлого дни ужалены,
Взорван столетий мост...*

Томский период творчества позволяет говорить о нём как о сформировавшемся поэте. У него своя эстетика, система образов, символика. Свои поэтические переживания. И неповторимый почерк. Романтическое настроение в ту пору отчётливо видно в каждой строке: гроза революции для него прекрасна сама по себе, её сила и мощь увлекают поэта.

«Перед нами, – писал Трушкин, – живой человек, горячий и увлекающийся, всеми клеточками сердца и мозга своего принявший пролетарскую революцию... Стихотворения Славнина покоряют читателя страстностью, бьющим через край «половодьем чувств» раскованной личности, для которой мир стал ареной чуть ли не вселенской радости и борьбы. Стихи его полны движения, бурного эмоционального напора».

Отсюда громкие, «звонящие» эпитеты:

*Мы звонкого мира вестники,
Отыщем тропу заветную,
Осилим ещё ступень...*

Но и в то «охмелевшее» его творчество нужно всмотреться с особым вниманием: первое представление о нём обманчиво. Поэзия Славнина глубже, она не укладывается в прокрустово ложе пролетарской литературы. Поэта волнуют, оказывается, простые человеческие отношения, ему близки вечные темы. В его стихах возникает мотив одиночества, сквозит грусть от несовершенства мира.

Таков начатый в Томске стихотворный цикл «Бред города», где «в странно бледнеющем воздухе скрыт опьяняющий яд...».

ОМСК

Ветры перемен, однако, дуют так сильно, что усидеть, остаться на месте невозможно. Славнин поселяется в Омске, где литературная жизнь бьёт ключом, где сосредоточены едва ли не лучшие творческие силы Сибири. Становится завсегдатаем литературных вечеров Антона Сорокина: колоритная фигура «национального сибирского писателя», как тот рекомендовал себя, привлекала тогда многих.

Всеволод Иванов позже напишет, как «маленький остроглазый» Игорь Славнин, «шепелявя и краснея, читал свои странные стихи». В ту же пору со-

стоялось знакомство с Леонидом Мартыновым, который высоко оценил поэтический дар «сибирского эгофутуриста». А хозяин омского литературного «салона» вообще назовёт Славнина «гениальным поэтом».

Оценка такая прозвучала в необычной «Газете для курящих», которую издавал Сорокин. Когда власть перешла к верховному правителю Колчаку и установился «новый порядок», сорокинские высказывания вызывали восторг: «он прославился эксцентричными выходками и смелыми выпадами» против диктатора. И, между прочим, спас от контрразведки некоторых представителей омской богемы.

Ему же, считает Трушкин, в какой-то мере обязан был жизнью Славнин. Воспевший революцию выходец из дворянской семьи тоже оказался в колчаковских застенках.

*Министров гнилого Запада,
Картонные головы королей, –
Всех мироедов сцапаем, –
Э-эх, не жалей!*

Время было известно какое. Жестокость стала нормой, жизнь обесценилась: поставить к стенке за одно подозрение в нелояльности тогда ничего не стоило. Так поступали белые и красные, те и другие. Но в тюрьме вспыхнул тиф, поэт заболел, и это, как видно, отсрочило его гибель.

Он «метался в жару на голых нарах и в бреду бормотал стихи о какой-то Марианне». Потом был отпущен: дружба с Сорокиным, который представил его собратом, далёким от политики «литературным шалопаем», очевидно, решила участь поэта. Побывав на краю смертной пропасти, Славнин полюбил жизнь с ещё большей силой. И любовь в его стихах стала спутницей свободы.

*А утром – снова синева,
А ночью – снова поцелуи, –
И так же любят и ревнуют,
И те же кружатся слова...*

Вновь подхваченный бурей, он пускается в странствия, идёт на восток в составе красных частей – всё дальше и дальше. Романтика революции овладевает им, казалось бы, окончательно: поэт пишет агитки, зовёт к беспощадной борьбе. Сотрудничает в красноармейской газете «Красный стрелок».

А потом, когда буря немного утихла, весной двадцатого года, оказывается в Иркутске.

ИРКУТСК

Наступает время признания. Во многом оттого, что само время предстаёт в его творчестве более выпукло, чем у других. Славнин понимает, чувствует своеобразие и величие времени. Умеет отразить это в стихах.

*А время ртутью протекло,
По площадям промчалось пеной...*

«Учащённый пульс времени» бьётся в его поэзии так сильно, что не заметить это невозможно. Он входит в объединение «Барка поэтов» как признанный вершитель дум. Стихи его звучат то и дело на иркутских поэтических вечерах. И когда у рампы возникает «маленькая фигурка в чёрной студенческой шинели», зал замирает, «слушая отчётливые, как дождевые капли, строфы стихов».

Поэты Валерий Друзин и Михаил Скуратов оставили о той поре живые воспоминания. Славнин в их глазах, мы убеждаемся, предстал фигурой противоречивой и сложной, во многом непонятой. Он заметно выделялся в разношёрстной среде литературной «Барки». И внешне, в своей неизменной «изрядно потрёпанной студенческой шинели», без шапки в любую погоду. И по духу, в поэтическом творчестве.

«Хрупкий, с тонкими чертами лица, большими синими глазами, большим чубом над высоким лбом», похожий на подростка, он обладал, однако же, удивительной силой духа. И сильным поэтическим голосом, созвучным голосу Маяковского. В Иркутске, отмечал современник, его житьё-бытьё было «убого и нище». Он жил, как настоящий поэт, на мансарде, «в комнатухе при редакции «Красный стрелок».

«Когда я приходил к нему по утрам со стихами и за консультацией, он вылезал из-под одеяла, сшитого из газетных листов, которые страшно шуршали», – писал Скуратов, который относился к известному уже литератору как к другу и учителю.

Славнин действительно много работал с начинающими поэтами: помогал обрести стиль, овладеть техникой. Поверить в себя. Но сам обрести внутреннюю гармонию, увы, не мог. В произведениях той поры «нет-нет, да и прорывались мотивы неприкаянности и щемящего одиночества».

*Мало радости, солнца мало,
Мало в тучах осенних огня, –
Жизнь моя – толчея вокзала,
Неуёмная беготня...*

Он устал скитаться по свету, «мерить русских дорог полотно». Но дорога не кончилась: летом двадцать первого года, когда барон Унгерн перешёл в наступление, поэт снова уходит на фронт. Участвует в боях. И вновь оказывается перед лицом смерти, в Иркутске прошёл даже слух о его гибели, а газета «Власть труда» дала о нём две траурные статьи.

Версию подхватили позже историки литературы. «В бою около столицы Монголии Урги, – писал Элиасов, – Игорь Славнин был смертельно ранен. За несколько минут до смерти передал он друзьям черновые наброски нескольких стихотворений, они были опубликованы посмертно». Ничего удивительного: яркое дарование воспринимается своеобразно, обрастает легендами.

В жизни Славнина таких мифов было немало. На самом же деле после войны он попадает в Читу, сближается с футуристами группы «Творчество», входит в редколлегию «Дальневосточного телеграфа». Знакомится с Асеевым, Третьяковым, Чужаком и создаёт с ними футуристическую секцию «искусствостроения». К той поре относится его бурное любовное увлечение и женитьба.

Отношения с женой, однако, не сложились, наступил разрыв. Поэт возвратился в Иркутск, окунулся в литературную жизнь города. Подружился с талантливым Иосифом Уткиным, стал ему помогать. Он по-прежнему много пишет, публикуется в разных изданиях, но в стихах его звучит теперь иная тональность.

*Бешеный конь революции
Оборвал минут повода.
Неужели надо проснуться
И, может быть, голодать.
Разве мой неизменянный рубль
Такой же, как все рубли,
У меня ещё учатся губы
Поцелуев кору дробить...*

Очарование бурей кончилось, наступил нэп. Пора было просыпаться, всматриваться в происходящее холодным и трезвым взглядом. Видеть Россию, «плетями исхлестанную», и себя в ней, уставшего «бродягу-поэта».

Думать и мучительно искать своё место в изменившемся мире.

МОСКВА

Один из его «подмастерьев», Джек Алтаузен, уезжает в Москву и добивается успеха. Вслед за ним устремился Игорь Кронидович. Но птица счастья летит в руки не каждому: мир как казино, никогда не знаешь, кому и какая выпадет фишка. Поэтический дар сибиряка находит понимание, и всё же устроиться, пустить в белокаменной корни не удаётся.

Ленинград в этом отношении ничуть не лучше, там тоже осесть не выходит.

*Стоит Сенат, обрюзгий барин,
И Пётр – бессменный архиварий –
Пришпорил грузного коня...*

Пришлось, помыкавшись, вернуться в Москву.

И снова бедность, неустроенность, поиски заработка и угла. Подённая литературная работа приносила скудный нестабильный доход. «Нужда, обычная и неизбежная для всех молодых поэтов и писателей, загнала его в провинцию за 19 вёрст от Москвы, – вспоминал Чихачёв, – и там... оторванный от городской жизни, которую так любил, Славнин начинает работать над рецензиями для журналов».

Вместе с поэтом Петром Чихачёвым он снимает комнатку в доме одного заводчанина. Комната была так мала, что когда приходили гости, кровать выносили на кухню – негде было разместиться. Но и такому жилью в Люберцах были рады: всё-таки какой ни есть, а обжитой угол. Четыре стены и крыша над головой, что ещё нужно непрехотливым, испытывавшим нужду поэтам? Были, конечно, родственники, но обратиться за помощью не приходило и в голову: те сами отчаянно бедствовали.

Да и тяжкая пора, думалось, миновала: устроившись, можно было отдаться работе с головой. Славнин пишет статьи, литературно-критические заметки, рецензии. Показывает новинки литературы: Вячеслав Шишков и Всеволод Иванов, О'Генри и Ромен Роллан. Когда критика обрушивается на Бабеля за его «чуждую» канонам советской литературы «Конармию», поэт бросается его поддержать. «Бабель краток, – указывает он, – серьёзен, но во всех жилах его сказа льётся струя революционной романтики».

Того же рода романтика самого Славнина, впрочем, блёкнет, словно цветок. Будто не он говорил недавно:

*К чёрту розы, ручьёв излучины,
Не надо шёпота, когда есть крик...*

Теперь его муза тиха, задушевна – поэт переходит на шёпот. Ведь только так, шёпотом, можно признаться в любви светлому гению Пушкину, чей «арапский профиль» плыл перед глазами всю жизнь. Только так можно излить душу, поведать о сокровенном, поделиться тревогой.

*Так – живу бездомным, как ветер,
Так – пустые слова коплю, –
Сколько глаз на пути моём встретил,
Не нашёл никого в целом свете,
Чтоб простое шепнуть: «люблю»...*

Группу «Перевал», куда входит Славнин, возглавляет Воронский. И он, и Артём Весёлый – оба поддерживают молодого сибиряка, берут его стихи в альманахи и сборники. Славнина охотно печатают столичные журналы, имя его в литературной Москве становится узнаваемым. Стихи Славнина «в середине двадцатых получили широкое распространение. Они печатались даже в настенных отрывных календарях», отмечал Трушкин.

Подтверждение находим в письмах. «Нигде не служу – живу литературой, больше стихами. Печатаюсь хорошо. Зарабатываю в среднем 150 рублей в месяц. Только здоровье не больно крепко. Нервы. Утомился... Думаю съездить на Кавказ», – сообщал поэт своему дяде Порфирию Порфирьевичу.

Но сбыться планам было не суждено.

Полгода спустя, отдыхая в приволжской деревне, где жил начинавший литератор Акульшин, поэт утонул. В гибели его было много неясного, несообразного, странного, но выяснить обстоятельства трагедии тогда как-то не удалось, а позже стало невозможно. Возник ещё один миф, сюжет на извечную

тему «Сальери и Моцарт». Только поручиться, насколько он верен, теперь не может никто.

Поэт ушёл из жизни в возрасте Лермонтова. Полный сил и надежд, хорошо ощущавший растущий талант. Но ушёл не в бессмертие, которое дарует собранное в книгу творчество, запечатлевшее литературный след, а в небытие. Книга стихов, над которой Игорь Славнин работал в последние месяцы, так и не увидела свет. А для поэта, известно, нет большей беды, чем забвение.

*О, если б знать, что день иным зазеленеет
На выгнутом хребте заброшенных могил...*

Пусть ложно толкуют, ругают, несправедно судят – всё что угодно, лишь бы читали. Лишь бы знали и помнили хоть что-то, хоть пару строк. Когда строки и вправду того стоят.

Нина ТЕМНИКОВА

Я ПРИЛЕЧУ К ВАМ ПТИЧКОЙ...

Я родилась и выросла в Томске и записана русской, хотя мои предки были поляками и латышами. Моя девичья фамилия Гинько. Дед по отцу Винцес Гинько, бабушка Михалина Гинько были поляками. Отца моего звали Александром Викентьевичем. А бабушка с дедом по маме были латыши. Дед Ян Янович и бабушка Ева. Маму звали Констанция Яновна Мейкшин (позднее эта фамилия трансформировалась в Мекшину). И те, и другие были ссыльными. Папина семья жила в Покровке, мамина – в Ново-Михайловке Томского района. И как-то мои родители друг друга нашли. [...]

[...] Жили мы на посёлке психбольницы. Папа работал заготовителем. Ездил по деревням и закупал овёс, крупы, мясо для больницы. А мама работала в одном из отделений больницы санитарочкой. Работники больницы жили в разных корпусах: был директорский корпус, врачебный и надзирательский. Вот мы жили в надзирательском корпусе. У нас была одна маленькая комнатёнка.

...Из довоенного времени помню, как мама устроила нам под Новый год ёлку. Мама нарядила её и пошла на работу, а нас закрыла на ключ. Я занялась ёлкой и стала зажигать свечи. На мне вспыхнула одежда. Я, вся как факел, металась по комнате. Но со мной всегда был мой ангел-хранитель. На моё счастье у нас в то время была засорена раковина, и вода не проходила по сливу. А накануне мама полоскала бельё, и везде, в ванне и в ведрах стояла вода. И я чашкой всё заливала.

Спина у меня сильно обгорела и голова. И в таком состоянии я всё прибрала, чтобы следы замести, пол помыла, а потом упала на пороге вниз животом. Брат с испугу забрался в печурку, сидит там тихо, как сверчок. Боль была страшная. А мама как почувствовала что-то. Стала отпрашиваться пораньше с работы уйти, говорит: «Если Нинка спички найдёт, то всё...».

Прибегает, а я лежу на пороге. А Шурка, фашист, вылез из печурки и сразу доложил маме: «Нинка горела!». Мама меня чем-то накрыла, взяла на руки и понесла к врачу Богурскому. Тот осмотрел меня и говорит: «Не знаю, будет ли жить. Целыми только лицо да живот остались».

Но начали лечить меня. Сейчас-то мази всякие есть, а меня так лечили: привязывали руки, ноги на живот, и ватным тампоном, смоченным марганцовкой, обрабатывали больные места. А раны с гноем! Долго лежала я в больнице. А потом бабушка говорит маме: «Катя, заведи ты её оттуда, сами лечить будем. Я тебе скажу, как». Рецепт бабушкиного лекарства я и сейчас помню. В его состав входил дёготь, ксероформ, мёд, воск, яйцо. И мама мигом меня вылечила. Спина быстро зажила, местами только долго болело, и целый год волос на голове не было.

А потом война. Отца на фронт взяли сразу в 1941 году. Мне 10 лет, брату Шурке – 8. Мы были босоногими и всегда голодными. Иногда в доме не бывало и крупинки. У мамы ноги больные. Я – хозяйка в доме.

Я должна всё убрать, помыть и выскоблить наши некрашенные полы, воды натаскать на коромысле целую бочку. У нас бочка в коридоре стояла. А я крепкая девчонка была: мало того, что два ведра на коромысле несу, ещё и в руке ведро. В школе в спортзал приду, мальчишки штангу выжимают до груди, а я возьму, раз – и подниму. Все собирались специально посмотреть на меня.

Огород полола, щёлок делала и стирала. Иной раз тазик маме подвигала, и она руками маленько стирала. Мы с братом травы принесём, я крапиву заварю, и эту похлебку едим. А хлеба – 1,2 кг на троих.

Однажды в очереди за хлебом такой эпизод был, что на всю жизнь остался в памяти. Только я получила свои 1,2 кг, как один голодный человек – бродяжка выхватил у женщины маленький довесок хлеба, что ей сверху булки положили. Он схватил его, побежал и по дороге жадно поедает. Люди догнали его, и давай пинать. Там лужа была... Они его пинают, а он продолжает есть. Люди как звери. Голодные. И этот кусочек... Я стою потом около отделения, а он идёт. Я ему говорю: «Тебе надо хлеба? Я отломлю». А он говорит: «Иди отсюда. Тебе самой есть нечего».

А как-то нашла я на улице верхнюю массивную корку от булки хлеба (кто-то потерял). Я её подняла, в рукав телогрейки сунула. Прихожу домой, говорю Шурке: «Иди сюда. Смотри, что я нашла!». Эта находка была для нас, как будто мы золото нашли. У меня уже ноги в то время от голода пухли. Как мы выжили, не знаю. Кроме крапивы, ели пучки. А грибы наберём с Шуркой такие, которые только солёными едят, посолим их. Время небольшое пройдёт, а мы уже друг друга подначиваем: «Шурка, грибы, наверное, уже готовы». Побежим и съедим их. Снова в лес идём.

Огород у нас был, но надо же дожидаться, когда урожай поспеет. А картошки только до января хватало. Мама болела, мы с Шуркой вдвоём землю копали. Сколько вскопаем, столько и посадим. Два ребёнка-то... Мама нам ведёрки соорудила, и мы с Шуркой в поле весной ходили мёрзлую крахмальную картошку собирать. Мама её очищала от земли и песка и делала нам лепёшки прямо на плите. Какими же вкусными были эти лепёшки! Часто вместе с нами ел и Вовка Полянкин, Шуркин приятель. У него в доме трое детей, и они бедней нашего жили.

А раз страшное со мной случилось. Получила я хлеб по карточкам, и пока шла домой, непроизвольно съела его. Что я наделала! А мама не ругала меня, отвела в сторону и говорит: «Сегодня ты хлеб съела, а завтра Шурку за хлебом пошлём, он съест». Вот такая у нас была мама. Было и то, что я потеряла карточки. Целый месяц мы без хлеба были.

Мамины ноги я вылечила сама. У неё, наверное, полиартрит был, как у меня сейчас. И она долго была на больничном. Мне подсказала одна женщина, как маму вылечить. «Набери, – говорит, – сосновых шишек, пихты наломай и всё это в бочке заваривай, ноги туда, и держать как можно дольше». Я так и стала делать. Этими ваннами я маму навек вылечила.

А ещё в войну случай был со мной. Мама больная, а дров топить печь нет. Я

говорю брату: «Шур, давай пойдём берёзу спилим. Санки возьмём и привезём на дрова». Он согласился. И мы пошли. А там в посёлке было место, которое называлось Голый мыс. И вот мы с братом у всех на виду зимой пилим берёзу на высоте своего роста. Спилили, распилили на чурки и привезли домой. Маме говорим: «Мама, у нас теперь дров много». «Откуда?» – спрашивает она. Мы сказали, что берёзу на мысу спилили. А она: «Что вы наделали! Сейчас придёт объездчик, а у нас денег нет, чтобы штраф заплатить!». Мы эти чурки давай на чердак носить, сеном закрывать. Однако объездчик к нам не пришёл, потому что ни один человек нас не выдал. Все ведь видели, как дети берёзу пилили и домой везли, но никто объездчику не сказал. А мы какое-то время были с дровами. Шурка по чурочке колол.

Мы, дети, в войну и дома помогали, и в общественных делах участвовали. Помощь фронту – это главное. Мы травы собирали для эвакогоспиталя, который разместился на психбольнице. Собирали в поле колоски, копали землю в парниках, ходили хлеб молотить, овощи убирать, картошку и окучивали, и копали. Кисеты шили в подарок бойцам на фронт. У отца были галстуки из блестящей разноцветной ткани, красивые такие. Я их раскроила на кисеты. Мама мне ничего на это не сказала. А вот за красивый платок, который я на те же цели стащила, маленько влетело.

Выступать в концертах ходила в тряпочных тапочках: мама сошьёт, а подошвы половой краской намажет. Как высохнут, так надеваю. Пела песни, плясала. Меня всегда вызывали на бис. Кстати, меня позже чуть в Новосибирскую консерваторию не взяли, но муж не пустил. Помню, случай со мной был во время выступления. Мама сшила мне для танца юбочку марлевою, лифчик белый, плавочки (наверное, из простыни). Юбочка была собрана на бечёвку. И вот я плясала, плясала, у меня бечёвка на юбке лопнула, а я не замечаю и продолжаю плясать. Мне девчонки кричат: «Нинка, у тебя юбка упала!». Ну, я подхватила юбку, и бежать за сцену.

А ещё я в струнном оркестре играла. У нас был замечательный руководитель Владимир Васильевич Звонков. Собрал нас, голодных детей, и организовал при больнице оркестр. Ночами ноты для нас расписывал. Я играла на домре, брат тоже на домре-бас.

До сих пор сохранились у меня добрые чувства к ребятам нашего оркестра. Всех помню. Андрикулец Юра, Камчатка Юра, Шавров Володя, Кириллов Женя, Шувалова Тамара, Димитрюк Надя, Сычёв Коля, Дудин Август, Кокорев Стёпа. Судьбы у всех разные сложились, многие стали видными людьми. Камчатка Юра стал капитаном дальнего плавания, Гришкевич Витя – армейский подполковник, Шавров Володя – научный работник, Кириллов – инженер.

Нина Офицерова (Нина Яковлевна Цымбал) заведовала всеми томскими аптечными складами. Умница. Это моя подруга на всю жизнь. С самого детского сада. Помню её девчонкой с белыми косичками и с барабаном в руках. Нас свела судьба снова уже после войны, когда она проходила практику в аптеке, где я работала. А потом опять судьба свела в ветеранской организации медиков. Это такой порядочный человек, что слов нет. Я её называла беспартийным коммунистом и говорила, бывало: «Если бы у нас коммунисты такие

были, как ты, Нина, нам бы так легко было жить!». Таких, как Нина, в общем, много было. Они ничего для себя – всё для людей делали. С такими бы людьми мы давно как короли жили, а нами паразиты заправляли.

Мы в нашем оркестре ещё такие маленькие были, что ногами пола не доставали, но играли хорошо и занимали в разных конкурсах первые места. Ездили везде с выступлениями. Бывало, отправимся в город, инструменты лошадь на телеге везёт, а мы пешком семь километров идём.

С оркестром часто выступали в госпитале. Нас очень хорошо принимали. Помню этих раненых в госпитале. Перебинтованные, на костылях, у кого ноги нет, у кого руки (аплодировали, хлопая друг о друга). И все старались нас угостить, достают сахар, в бумажках припасённый, и суют нам. Я говорю своим: «Ребята, нельзя брать у них. Они больные, им силы нужны».

От отца приходили письма-треугольнички. Письмо всегда начиналось так: «Здравствуй, моя дорогая супруга Екатерина Ивановна», а потом уже нас с братом называл.

Учились мы в школе № 21 в нашем посёлке. Школа деревянная, двухэтажная. Очень крепкое было здание. А сейчас его так запустили, что сносить надо. Брат учился хорошо. Он у нас способный был, а у меня к учёбе особой охоты не было, не давалась математика, да и маме помогать надо было. И я не доучилась, бросила школу после пятого класса. Мама была рада этому.

...Когда объявили о Победе, дядя Ваня, сосед, на всю улицу кричал: «Ребята, война кончилась!». Он выкрасил простыню в красный цвет и на доме повесил. Флаг висит, и мы все счастливые. День такой был: и дождик моросит, лужи кругом, и солнце выглядывает. Все на улицу высыпали, смеются, плачут, обнимаются. Мы побежали к маме.

А мама тогда охраняла склады. Одна женщина в подвале, и как-то не боялась. Однажды в неё кидали камнями с намерением проникнуть на склад. Мама схоронилась за выступом. А ещё помню, как пришёл кладовщик, открывает склад, а мама просит: «Гриша, дай две картофелины, хоть сварю суп детям». А он злой такой был, говорит: «Это всё казённое, а ты поставлена охранять». Выпросить нельзя было. Мама иной раз 2–3 картофелины тихонько возьмёт, прижмёт их холодные к груди и принесёт нам, голодным.

Прибегаем мы к маме: «Мама, война кончилась!». А у мамы ноги онемели, как ватные стали, и она с места сдвинуться не может. Мы: «Мама, пойдём домой. Папка вернётся скоро!». Ну дошли до дома всё-таки.

А я всю войну думала: «Вот кончится война, я куплю пряников и с холодной водой наемся их». И вот теперь я сказала маме об этом. Она: «А давайте наедемся пряников!».

Отец до Берлина дошёл. Вернулся живой и невредимый, с орденами и медалями на груди. Помню день его возвращения. Я, Шурка, и с нами Вовка спали почему-то на полу у печки. Мама на работе.

Стук в дверь: «Ребята откройте, я отец ваш». А я: «Шурка, держи дверь крепче! Никакой это не отец». «Нина, откройте, это ваш папка». Шурка первым опомнился, что он нас по именам называет... Ой, радости было! Счастливые все!

А Вовка сидит в уголке плачет: «А мой папка погиб. Похоронку получили». «Ничего, Вовка, не плачь». Отец достаёт из вещмешка тушёнку, ещё что-то, и мы кушаем. Рассказывал о войне, о том, как Берлин брали. Я когда вижу документальные кадры кино об этом, всё выглядываю, не мелькнёт ли там отец. Отца не ранило, даже не царапнуло ни разу. Повезло.

А вот мамины братья не вернулись. Ян, Александр и Леонид. Когда война началась, они ещё малолетки были. Мама младшую сестру Женю к себе взяла. А братья жили в детдоме. Им там сказали: «Кто хочет на фронт?». И они сразу вызвались добровольцами. Дядя Шура, помню, высокий такой, красивый был (сейчас мой внук на него как две капли похож). В белом вязаном хлопчатобумажном свитере. Подошёл к нашему дому, оперся о косяк, а мама через окошко цветы полет. Дядя Шура говорит: «Ну что, сестра, иди провожай меня на фронт». «Зачем же ты идёшь добровольно-то?» «Не могу иначе. Мы все идём». Пошли мы с тётей Надей провожать его. А он идёт и говорит: «Смотрите, на фронт босиком иду». Дело в том, что сапоги ему маленькие выдали.

Отец привёз с фронта кое-что из трофейных вещей. Продали их, купили корову. Поросёнка стали держать. Я вставала в шесть часов утра и пасла корову. Траву домой приносила, опять же грибы собирала. Одним словом, хозяйка была. А отец хоть и выпивал, но мы не голодали, жить стало легче.

А тут я влюбилась. Ой как влюбилась в одного парня. Забеременела. Отец мне всю спину ремнём исполосовал. А я говорила: «Убей, я всё равно с ним буду». Но парень тот меня не взял. Сестра его всё сделала, чтобы нас разлучить, да и в армию он ушёл. Ох и натерпелась я. Это надо знать, что значит в то время с животом без мужа ходить. Родила я Юрочку (1950 год). А отец мой, он же поляк – такой своенравный – кричит: «Опозорила!». И ребёнка за ручонку поднимает. Я говорю: «Отпусти ребёнка, он не виноват! Я уйду».

Я работала в аптеке и училась в вечерней школе. Приду с вечерней школы, а Юра у порога на полу сидит. Ножки холодные. А бабка же больная, уснёт и не уследит за ребёнком. Я ножки его за пазуху суну, отогреваю, а сама плачу. Но сын рос здоровеньким, никогда не простужался. Сосед дядя Ваня его молоком парным поил три раза в день. Корову подоят, он зовёт: «Юрка, беги сюда». А Юра уже знает, хватает кружку и бежит. Я благодарна тем людям, которые меня поддерживали, и улице, которая тоже растила моего сына. Все помогали. Смотрю, у всех ребятешек велосипедики. Говорю: «Мальчишки, дайте и ему покататься». А сама, конечно, не могла ему это купить. Деньги все отцу отдавала. Брат с нами жил. Тоже работал. Другой раз Юру не с кем оставить, а брат усталый со смены придёт, и он остаётся с ним. Ребёнок плачет, а он с ним водится.

Когда Юре было четыре года, я съехала от родителей. Мне жильё выделили. Комнатка на втором этаже деревянного дома. Там печка, кровать, тумбочка и стол. И всё. Больше ничего не входило.

Юра рос у меня, как сыр в масле. Беленький, кудряшки рыжие, личико красивое, в веснушках. А когда в детсад ходил, так у него волосы до плеч были. Приду, бывало, за ним, а они его там нарядят девочкой и любят. Мне это

не нравилось, говорила: «Ну зачем вы так?». Рыжим его, конечно, дразнили. Это он в мамину мать таким уродился.

Пять лет своего ненаглядного ждала, а он и не писал мне. А тут иду как-то по улице, а мне навстречу морячок, красивый такой. «Нина, здравствуй! Нина, ты одна?» «Да нет, не одна». «Замуж вышла?». «Нет, но у меня сын Юра есть». «Нина, я тебя люблю так же, как раньше любил. Выйдешь за меня?» Я говорю: «А как же Зина-красавица с косами? Она тебя пять лет ждала, пока ты служил. А я тебя не люблю». А он говорит: «Привыкнешь. Я тебя очень люблю». И он стал ко мне ходить. Очень его родители против меня были. А он говорил: «Мне против Нинки и трёх Зинок не надо». Жалко мне его стало. И вышла я за Толю замуж. Он ко мне перешёл жить, ничего из дома не взял. Свёкор иногда заходил, то сальца занесёт, то ещё что. А свекровка ко мне в первый раз пришла только когда я Татьяну родила. Свёкор за мной на такси в роддом приехал. Захожу я в свой дом, а там стол накрыт, свекровка сидит, ванна куплена, ещё что-то для ребёнка. Я как увидела это, слёзы потекли: «Боже мой! Признали меня!». А свекровь: «Прости, Нина». А через два года я Оксанку родила, и они ко мне потом всё время хорошо относились. Но свекровка, когда умирала, опять сказала: «Прости меня за всё, Нина. Я тебя очень прошу».

Сын учился в той же 21-й школе. Учился отлично. Плохо было только то, что не имела возможности одевать его хорошо. До 10 класса у него костюма не было. Штаны латаные, а курточку, рубашки ему сама сшила. А он ничего не требовал. Но когда ему за аттестатом идти, тут я подсуетилась. Мне на работе подарили очень красивую кофту, я её продала, денег добавила и купила ему германский чёрный костюм, белую рубашку нейлоновую. Юра был такой счастливый!

Пошла с ним вместе на выпускной вечер, думаю, помогу хоть на стол накрывать. Директор школы Тамара Андреевна говорит: «Юра, как жалко тебя отпустить из школы!». А я смотрю на своего красавца и вспоминаю, как он мне достался, слёзы текут. Юра удивляется: «Мам, ты чего плачешь?». «Да от счастья, сынок». «Мама, ты у меня самая молодая и самая красивая», – и мы пошли с ним танцевать. Я в ситцевом платье. А тут мой муж подвыпивший заявился с претензией, что я танцую. Настроение испортил. Он к Юре плохо относился. Не родной же. Толя честный был, он сразу сказал: «Тебя люблю, а сына твоего нет. Потому что он мне напоминает то время, когда ты с его отцом с танцев возвращалась. Вы на крыльце целовались, а я под сосной стоял и смотрел, как вы прощаетесь». Я говорю: «А ребёнок-то при чём?». Но Толя жёстко обращался с Юрой. Тот придёт с улицы весь замёрзший, а он ему: «Ты молока купил?». Я вмешиваюсь: «Он тогда молоко купит, когда поест, обогреется». Всё время кидалась на защиту сына.

Юра подробностей не знал, я говорила просто, что у его отца другая семья. Я не хотела, чтобы он чувствовал себя «безотцовщиной». Он прекрасно знает, что воспитывала его я практически одна, что тяжело мне это досталось.

Получил Юра аттестат и пошёл сдавать документы в ТИАСУР. Я ему говорю: «Сынок, у нас ни блата, ни денег нет, сдавай экзамены и рассчитывай только на себя». Пришёл с какого-то экзамена, плачет, говорит, что 11 вопросов

задавали и четвёрку поставили, а ему пятёрку надо. Я успокаиваю его, говорю, что это же не двойка и не тройка, стипендия будет. Приняли его.

Когда я начинала работать в аптеке, получала 31 рубль. Что на эти деньги можно было купить? Окончив вечернюю школу, пошла на курсы медсестёр при нашей больнице. Два года проучилась. Когда окончила курсы, такая счастливая была, будто я теперь научный работник или вообще профессор. Мне так хотелось работать медсестрой. Медсестра сутки работает, трое отдыхает. Меня спрашивают: «Нина, ты умеешь делать внутривенные уколы?». Отвечаю, что умею, хотя нам только показывали, как это делается. «Ну, всё. Иди в приёмное отделение работать». И однажды в моё дежурство привозят умирающего отравленного солдата. Один по дороге умер, а этого вот довезли. Положили на кушетку, до прихода врача и в рот больному дышала, и искусственное дыхание делала, пришёл врач, говорит: «Набирай глюкозу, в вену будешь вводить». Жгут мне санитарка держит, а я колю. Раз – и попала, и так хорошо медленно ввела. Санитарку за молоком послали. В нос ему молоко вводили. Когда это всё сделали, смотрю, у солдата слеза выступила. Жив! Спасли! Очнулся, сказал, что у него сын есть.

Много было случаев в моей долгой медицинской практике. Однажды главврач Анатолий Иванович Потапов сказал: «Нина, ты поедешь в Наумовку старшей сестрой». У нас в Наумовке было 18-е отделение. Я поехала туда и работала там долго одна, без врача. Потом прислали молоденькую, только что со студенческой скамьи. А тут женщине одной рожать срочно надо. Врачиха испугалась, говорит, что её в город отправлять надо. А я говорю: «Ведь распутьца, грязь! На чём отправлять? Давайте тазы обжигать да роды принимать». А сама-то всего один раз роды принимала. И мы приняли. Мальчик 4,2 кг. Шёл правильно, всё нормально обошлось. Врачиха мне потом говорит: «Нина, смелая ты какая. Командовала, как хотела». Я говорю: «Зато человека не потеряли. Думала, вы – врач, я – медсестра, да разве роды не примем?». Это в 1965 году было. Я всегда так поступала: надо – значит, надо.

Потом я работала помощником санитарного врача. Тут я уже переквалифицировалась. Муж умер. Осталась одна с тремя детьми. 20 лет в больнице работала и на пенсию оттуда ушла. Потом уже и в тюрьме медсестрой была, чтобы пенсию в 120 рублей заработать. Потом в ресторане в аэропорту 10 лет ещё отработала.

В то время в Томске уже жила. В Томск в 1970 году переехали. Мужу Толе квартиру дали. А как дали? Толя 15 лет в город на работу ездил. А он офицером связи работал. Жили мы в очень стеснённых условиях: печное отопление, детей трое. Когда я за Толю замуж вышла, он ко мне перешёл.

Потом мы ещё сменялись с соседями. У меня отец парализован был, и мама больная, и я родителей взяла к себе. Папину с мамой комнату отдали снохе, а её мать, наша соседка, пошла к ней. И вот мы занимали уже три комнаты. Уже у Юры отдельная комната была. Огород большущий, стайка была. Мы и свиней, и кур держали. И так мы там жили много лет.

А тут надоумилась я и написала заявление на имя начальника мужа о необходимости улучшить наши квартирные условия. Вызывает начальник мужа: «Слушай, Лысов (моя фамилия тогда по мужу Лысова была), твоя жена тут

пишет, в каких условиях вы живёте». «Чего это она вздумала? Будет ей за это, чтобы не лезла, куда не просят». Да, он такой был. Правильный. Беспартийный большевик. А начальник ему говорит, чтобы жену не трогал, а на квартиру в первую очередь нас поставит. И вот потом предлагали одну квартиру с подселением – мы отказались. А потом ещё одну. Тоже с подселением. В квартире жила слепая бабушка и женщина с двумя сыновьями. Нам выделили две комнаты. Это на улице Карташова. Квартира мне понравилась. Бабушку мы сразу взяли под свою опеку. Соседка обижала её. Бабушка жаловалась, что та в кухню, в ванну её не пускает. Конечно, она на плиточке готовит что-нибудь, не видит же: то крупу просыплет, то подгорит что. Спрашиваю: «Тася, ты почему бабушку на кухню не пускаешь?». «Следи за ней, тогда будем пускать». «Ладно», – говорю. Я бабушку в ванне вымыла, в комнате у неё выбелила, прибралась, и дочкам своим Оксанке и Танечке наказала, чтобы приносили бабушке молоко. А бабушка была одной из первых томских пионерок (фамилию её забыла). Однажды бабушка меня позвала и сказала, что она писала заявление, и её как персональную пенсионерку переводят в дом инвалидов, где у неё будет отдельная комната с телевизором. Попросила, чтобы я такси заказала отвезти её туда. А комнату свою она отписала на Юру.

Юра очень дружен с ней был. Всё время разговаривал с ней. Она курила, и Юра ей папиросы приносил, да и сам к тому времени покуривать стал. Юра тогда в институте учился. Бывало, до ночи его нет, а она: «Нина ты ложись, а я его дождусь и встречу». У неё свой сын был, но она о нём даже говорить не хотела. Никогда он её не проводывал. И вот она комнату свою, телевизор, холодильник, все книги моему Юре оставила. Говорила: «Вы столько для меня сделали!».

А Тася-соседка однажды в такую неприятность нас втянула. У неё деньги потерялись как раз после того, как мой Толя обедать домой приходил. И она заявила, что Толя эти деньги взял. Давай его допрашивать, давай в милицию его таскать. Юру на допрос из института вызывали (какой позор!), нас всех допрашивали. Я им говорю: «Толя – человек порядочный. Он не мог такого сделать. Я уверена». И что вы думаете? Однажды её сын напился пьяный и из окна выпал, прямо под ноги проходившему мимо Толиному начальнику. А из кармана его вывалились большие деньги. Начальник собрал их, взял его паспорт, его потом вызвали и он сознался, что деньги у матери взял. А я, уверенная в том, что никто из моих её денег не брал, сказала Тасе в сердцах: «Чтоб твои деньги через пузо твоё вылезли!». Случайно такую фразу сказала. Прошло какое-то время, мы уже на другую квартиру, на Нахимова переехали. Но я забыла в старой квартире пластмассовое ведро и пошла за ним. Прихожу, а сын Таси говорит: «Зайдите к маме». И она говорит мне: «Помнишь, ты сказала, чтобы у меня деньги через живот вылезли? Так вот у меня живот теперь весь синий. Врачи ничего не признают. Ты прости меня за тот случай, если можешь. Вы столько тогда пострадали». А я что могу. Я ведь случайно те слова сказала, вгорячах. Не знаю, что с ней потом случилось, вылечилась ли. Правильно говорят, что слова выбирать надо. Бывает, слово так в цель попадёт – не рад будешь.

У Юры моего хоть отношения с отчимом и не были тёплыми, но всё же он благодарен был ему. Всё-таки он его вырастил, выучил. Родного отца Юра видел в первый раз, когда учился на пятом курсе. Пришёл к нам на Карташова: «Мне можно на сына посмотреть?». «Я говорю: «У тебя сына нет. Он мой». Юра вышел, говорю: «Вот твой родной отец». «Мама, выйди». И этот почти следом за мной. Я его спрашиваю: «Что тебе сын сказал?». «Сказал – приходи ещё». А Юра мне сказал, что он ему тысячу рублей совал, но он не взял: «Я без пяти минут инженер. До свидания». Я одобрила сына. Деньги – дело наживное...

Много думается сейчас о смысле жизни. Хочется верить, что душа у нас есть, и что она после смерти человека в кого-то другого воплощается. Говорю детям своим: «Вот умру я, и котёнком к вам приду или птичкой прилечу». Когда Таня моя умерла, ранними утрами под окнами нашими пела какая-то птичка. Когда я с нынешним мужем (я его «дедом» называю) переехала на другую квартиру, голос этой же птички в 6 часов утра раздавался и там. Это как понимать? Я кормушку птичкам сделала и всегда их подкармливаю.

Татьяна у меня среднюю школу кончила. Поскольку всё время болела, мучалась головными болями, то дальше учиться не стала, работала кассиром в столовой. А потом её муж, крутой азербайджанец, снял с работы, и она с двумя детьми дома сидела. А Оксана была поваром и работала зав. производством.

А Юра после окончания института отработал около 20 лет в Норильске. Его жена Людочка оттуда родом. Юра – большой трудяга. В Норильске жили вначале у родителей Людды, потом получили кооперативную квартиру. Юра на трёх работах «вкальвал». Копили деньги, выплачивали за кооператив. Мне с девочками Юра много помогал. Толя умер, так нам тяжело пришлось. И вот он нам всё бандероли слал. Купил дочери Маше однокомнатную квартиру в Красноярске (она там институт заканчивала).

А потом Юра воспользовался положением о том, что тем, кто много лет на Севере отработал, ссуду безвозвратную дают, чтобы обустроиться на житьё в другом месте. Они продали свою квартиру, машину, мебель, какая была, и переехали в Ленинград. Там построили себе трёхэтажный коттедж. Такая красота! Сад, гараж, кресла, камин, потолок необыкновенный, картины на коже (из Норильска привезли). Разве опишешь всё. Я была у них там, меня как министершу принимали. Меня всё там поразило и восхитило. Я так рада за них! Юра мне деньги на лечение предлагал, советовал огород бросить. Но я не могу в клетке сидеть. А у нас участок возле озера. Одно удовольствие там.

У Юры и сын взрослый, академию кончил. Саша. Тоже рыжий. И похож на дядю Леонида. От меня много «отростков» пошло: Юра, Танечка, Оксанка, Маша, Ольга, Денис, Андрей, Сашка... И все хорошие.

А в третий раз замуж я вышла так. Моя сватья (Оксанкина свекровь) очень хороший человек. И вот говорит однажды: «Нина, у нас человек есть для тебя. У него жена умерла». Я говорю, что не хочу замуж. «Нина, у него разбился на смерть сын единственный! Ты человек или нет?» «Не надо мне никого». А потом она мне звонит и говорит, что он руки обварил: «У тебя совесть есть. Ты же медсестра, надо помощь оказать».

Ну вот. Она ему сказала, что придёт женщина одинокая, чтоб присмотрел-

ся. Я стучу, говорю: «Врача вызывали?». «Вызывали». Смотрю, две руки завязаны. Я размотала их, кожу обстригла, раны обработала. А он так стоит и говорит: «Ну что, будешь у меня хозяйкой? На ключи. Ты мне понравилась». Говорю: «Что ты так сразу! Так дело не делается. Надо домой сходить, с дочкой посоветоваться». «Ладно, – говорит, – сходи, но завтра в три часа приходи».

Отвечаю, что если приду, то приду, если нет, то чтобы не ждал больше. Я с детьми поговорила – с Таней и зятем. Таня мне говорит: «Мама, у тебя своя жизнь. Ты для нас пожила. Делай так, как тебе сердце подскажет». Подумала-подумала я: дед обеспеченный. И вот мы уже девятый год вместе живём.

Сейчас я нашла отраду в творчестве. Всё как-то случайно получилось.

Вот из овощей розы вырезаю. Из всяких других подручных средств картины создаю. Заметила рыбки косточки необычные, сложила из них картину с птицами. Обо мне уже и в газетах писали, и на телевидении обо мне рассказывали. Не это главное, главное, что я в чём-то радость нашла и готова дарить её людям.

Источник: Центр документации новейшей истории (ЦДНИ) Томской области, Ф.5666. Оп.1. Д.138. Подлинник. Машинопись. Нина Александровна Темникова, медсестра, пенсионер, г. Томск. Март–апрель 2003 года.

Начинающие авторы школьного возраста сегодня имеют немало возможностей проявить свои таланты, и постоянно участвуют в творческих конкурсах разного уровня – от городского до международного. Сегодня мы знакомим вас с работами юных поэтов и прозаиков. У большинства из них уже есть публикации, а кого-то можно поздравить с дебютом.

Дарья МИХАЛЬЧЕНКО, 16 лет

* * *

Не жалею меня, не прощай.
Всё прошло, как сирени цвет,
Как весна прошла. Развращая
Рай, человек обнаружил свет.
Человек обнаружил страх,
Он, как щепка в объятьях волн...
И с тех пор человек впотьмах
Ищет жизни простой закон.
А закон не сказать что прост,
И ответом ему века
Служит трепетный, как норд-ост,
Шёпот трав и цветов: «никак».
Человек достаёт свирель,
И для звука делает вдох.
Человек закрывает дверь.
А за дверью-то этой Бог...

* * *

Южный ветер, брызги чая
с грустью...
Я ушла перед началом.
Пусть так...
Будет всё, как нам хотелось
В детстве...
Чёрный – белый, трусость – смелость,
Свежесть...
Нежны запахи сирени
Сладкой...
И еще подъём с постели
Зябкий...

И блины, куда без них-то,
В масле...
Горьковатый привкус пихты
Вязкой...

* * *

Судьба настигает,
Мчится на волке
Взмыленном.
Тот кашляет лаем,
Словно на Волге
Бурлак обессиленный.
Хлыстом подгоняя
Рьяно зверюгу
Грешную,
Судьба нагоняет,
Выставив руку,
От вен почерневшую.

* * *

На расстоянии тысячи звёзд,
Летних дождей, земляничного духа,
Где-то, где скошено сено в покос,
Пусто и глухо.

* * *

Я боюсь тишины
До безумной паники,
Выбираю машины
И оркестры парковые:
Пусть, как пчёлы в кустах,
Раздражают улицы.
Я пытаю свой страх
Шумовой безвкусицей.
Лишь бы вымарать тишь
Из души исчерченной.
Что сегодня молчишь,
Мостовая вечера?

* * *

Мне хочется плакать и биться о стены,
И испарывать глотки безликим подушкам.
Мне хочется ехать за синие степи,
Меняя, как слайды, поля и опушки.

Мне хочется выть, я от боли ослепла,
И, кажется, скоро закончится воздух.
И, кажется, скоро закончится небо.
Уж больше не грянет блистательный Ойстрах!
Уж больше ни строчки не выронит Бродский.
Уж больше не будет весны и Гогена.
Не знаю, как дальше мне с жизнью бороться:
Мне хочется плакать и биться о стены.

* * *

Какое лето приключилось:
Река, прогорклая жара,
И ветер, гладивший уныло
Вуаль небесного шатра...
Твой голос тихими ночами,
Твой смех – до судорог души,
И одиночество причала
В минуты единенной лжи...
Какое лето: сладость липы,
Почти сбивающая с ног,
И ты, счастливый и небритый,
Лишённый всяческих тревог...
На все наивные уловки
Попалась крепко, сердцеруб.
Ты, как ромашковы головки,
Срываешь поцелуи с губ...

Полина ТЕЛКОВА, 10 лет

ВЕСЕННИЕ СТРОЧКИ

Весна расправилась с зимою в пух и прах!
И исполняются у всех желанья.
Вот воробьи сидят на проводах,
На фоне неба, как на нотном стане.

Весна не ставит точки, и лопаются почки,
Как тоненькие струны, звенит, поёт капель.
И клейкие листочки раскрылись в моих строчках,
Синичка на страничке поёт: трень-тень-тень-тень!..

СВЕТЛЯЧОК

Только ночь наступит,
Тишина придёт,
Маленький жучок вдруг
Песню запоёт.

Песню колыбельную?
Или так – от скуки?
До него дотронулись
Маленькие руки.

Оказался в банке
Маленький жучок,
Светит нам ночами
Милый светлячок.

Будто бы фонарик,
Звёздочка на небе!
Но скучает по свободе
И по синим рекам.

Заметил это мальчик,
Что взял жучка в неволю,
Посадил на пальчик,
Выпустил он в поле.

Летит по ветру светлячок,
Любуется природой.
Летит, сверкает и поёт:
Ах, как сладка свобода!

Настя САМОЙЛОВА, 13 лет

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ

Стих, написанный мной от руки,
Выведен серым цветом.
О том, как гуляли мы возле реки
В дождливо-жаркое лето.
О том, что ясных и пасмурных дней
У нас с тобой было поровну.
И что, прощаясь, ты поскучнел
И долго смотрел в мою сторону.

Что не вернётся всё то, что люблю.
К осени дни клонимы.
Закрою шторы, камин растоплю
И буду жить зиму.

ДОРОЖНАЯ СКУКА

Смотрю, скучая, из вагона
И попиваю чай с лимоном.
Вот горбоносая ворона
Гуляет гордо по перрону,
Всё ищет, чем попировать,
Чтоб немного толще стать.
В экран уткнувшись телефона,
Жую я бутерброд с беконом.
А горбоносая ворона
Всё ходит, ходит вдоль газона.
Завариваю доширак,
И размышляю просто так:
Здесь привокзальная ворона
Ну очень важная персона.

МУЗЫКА ВЕСНЫ

Я вижу радугу весны,
Проходим улыбаюсь,
На крыше дома своего,
Как птица, распеваюсь.

Я слышу, чувствую весну,
Её я так люблю.
И настроение своё
Я всем вокруг дарю.

Ангелина БАН, 13 лет

В НАЧАЛЕ ПУТИ

Я на мосту, я в начале пути,
Ветер попутный меня подгоняет.
Мне интересно, а что впереди?
Что в этом мире меня ожидает?

А под мостом перестуки колёс,
В небе стрелой самолёт пролетает.
Люди, спеша, без улыбок, без слёз,
Что-то в своих телефонах читают.
Солнышко светит, весёлый мой друг.
Только не прячься, подольше свети!
Нравится мне созерцать всё вокруг,
Идти по мосту, быть в начале пути.

ОДУВАНЧИК

В жёлто-зелёном ярком наряде
Город мой праздничный, как на параде.
В городе много тепла и света –
Это пришло к нам лето.

Я акварелью, легко и быстро
Рисую его самой тонкой кистью,
Цветок мой любимый, яркий, светлый –
Образ частички лета.

Мой одуванчик – красивый сорняк,
Но я не хочу называть его так.
Этот рисунок – в доброе вера,
От моего пленэра.

Жаль, это лето пройдёт, завянет,
Серо и холодно в городе станет.
Только на тёплой моей картине
Лето меня не покинет.

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ

По городу бродит печальная осень,
Смывая весёлые краски дождём.
А мы уже тёплые варежки носим,
И снега пушистого, белого ждём.
Мечтаю в тебя, проходящего мимо,
Снежком запустить вместо слов, вместо фраз.
Чтоб встретить открыто вопросы любимых
Твоих удивлённых, растерянных глаз.
По городу осень усталая бродит,
Срывая последние листья с берёз,
Но скоро зима закружит в хороводе,
Мы встретимся взглядами даже в мороз.

ДИСТАНЦИОНКА

Сидим за компьютером, все полусонные,
У нас обучение дистанционное.
У нас конференции вместо уроков,
И всё, как всегда, с соблюдением сроков.
Решаем задачи почти нереальные,
А ставят оценки нам не виртуальные.

РАЗГИЛЬДЯИ

Стою у прилавка. Молчу и моргаю.
(Мне в булочной надо купить расстегаи.)
– Глаза разбежались? Не знаешь? Забыла? –
Меня продавщица негромко спросила.
– Нет, помню, конечно, конечно же, знаю!
Подайте, пожалуйста, три разгильдяя.

Дмитрий СМЕТАНИН, 11 лет

ЖИЗНЬ В ДЕРЕВНЕ

Глава I. Неожиданный переезд

В обычном городе Томске жила одна семья. В ней было два брата: старший, Паша, и младший, Игорь.

Наступили летние каникулы, и оказалось, что детей ждёт сюрприз.

– Мы переезжаем в деревню! – сказала мама.

– Как так? – спросил Паша. – Неужели нам придётся уехать отсюда?

Дорога до деревни, где находится их новый дом, долгая, но она того стоила. По дороге Паша уснул, и ему приснился классный сон. Во сне он увидел их новый дом. Он был двухэтажным, с балконом и лужайкой. Машина резко остановилась.

– Выходим, – скомандовал папа.

– Уже приехали? – спросил Игорь, на что мама ответила:

– Да!

Дети вышли из машины и увидели новый дом.

Он оказался совсем не таким, как во сне Паши. Дом был одноэтажным, без балкона, но зато в нём было три комнаты, кладовая, гараж для машины, а на улице был большой огород, дровяник, стайка и баня.

Первым делом братья начали всё осматривать, и им всё нравилось. Потом родители начали ремонт: клеили обои, расставляли мебель, обустраивали приусадебный участок. Ребятам показали их комнату. В ней было две кровати, стол для занятий, стеллаж для книг, на полу лежал большой красивый ковёр. Маль-

чикам очень понравился дом, хотя Паша немного расстроился, что этот дом не был похож на дом из его сна.

В комнате родителей обстановка была почти такая же, как в их комнате, только вместо стола и стеллажа были телевизор и портрет их семьи. В гостиной стоял диван и большой шкаф, а также пушистый ковёр.

Глава II. Привыкание к жизни в деревне

Вот уже прошло две недели после переезда, а Паша и Игорь никак не могли привыкнуть к жизни в деревне, и иногда даже кто-нибудь из них кричал:

– Хочу домой!

Один раз, пойдя гулять, братья увидели странное животное, похожее на лебедя. Мальчики подошли к нему и попытались погладить его, в ответ птица «гакнула» на них. Со страху парнишки побежали домой, а страшный зверь кинулся за ними и пытался их ущипнуть.

Забежав домой, братья кинулись к маме, которая на кухне готовила обед, и стали наперебой рассказывать о том, что с ними случилось на улице: как они встретили незнакомца, как попытались погладить его, как незнакомец побежал за ними. Мама рассмеялась и объяснила, что это не страшное животное, а всего лишь нелетающая домашняя птица – гусь. Паша вспомнил, как ему уже рассказывали про гуся, но увидев гуся рядом с собой, Паша его не узнал.

На следующий день дети опять пошли гулять, забрели на детскую площадку, поиграли там в одиночку и пошли домой. По дороге встретили другое странное животное – корову, но без вымени. Братья обошли странную корову вокруг, а она побежала за ними. Быстрее ветра помчались мальчики домой и сразу к маме:

– Там, там... – трещали наперебой мальчишки, – там странная корова без вымени!

– Да это же бык, – улыбнулась мама, обнимая «храбрецов», – с ним надо быть осторожнее, лучше его не злить и не попадаться на глаза в красной одежде, чтобы он не забодал.

Вечером для Паши и Игоря нашлась работа: полить морковь, капусту, накормить кур, кроликов и уток. Братья поделили обязанности: Паша польёт капусту и покормит кур, а Игорь польёт морковь и покормит кроликов. Братья сделали свою работу, остались некормленными утки, но никто не хотел их кормить, тогда они решили: Игорь принесёт корм, а Паша накормит. Сказано – сделано!

Так закончился очередной прекрасный день жизни наших героев в деревне.

С утра для братьев опять нашлась работа: нарубить и натаскать дров в сарай. Паша, как старший и сильный, рубил дрова, а Игорёк их таскал и складывал. Не успели мальчишки отдохнуть, как появилось новое дело: сходить в магазин. Но дети в голос сказали:

– Мы не пойдём, а вдруг опять нам встретится какой-нибудь страшный зверь.

Но мама их успокоила:

– В деревне есть не только злые, но и добрые животные.

Слова мамы успокоили братьев, и они отправились в магазин. По дороге

Паша и Игорь встретили милого котёнка, погладили его и пошли дальше, но котёнок шёл за ними. Выйдя из магазина, братья снова увидели этого котика, но прошли мимо него, а он увязался за ними. Дома Паша спросил:

– Мама, можно этот котёнок останется жить у нас?

Мама не стала возражать.

Глава III. Новые друзья

Вот и закончились летние каникулы, пора идти в школу. В этом году Игорь идёт в первый класс, и это очень важный момент в его жизни. Паша уже четвероклассник.

В школе братьям всё было незнакомо, у них здесь нет пока друзей. В Пашином новом классе его внимание привлёк один очень крутой и, как показалось Паше, очень умный мальчик. Конечно же, Паше захотелось с ним подружиться, но по характеру Павел был застенчивым и не смог заговорить с одноклассником первым.

Когда занятия закончились, тот мальчик сам подошёл к Паше и сказал:

– До завтра! – и пошёл домой.

Паша про себя пробормотал:

– Пока! – и тоже направился домой.

Дома Павел рассказал брату про всё, что с ним случилось в школе. Игорю тоже было что рассказать:

– В первом классе меня посадили с одним мальчиком, его зовут Денис, он очень классный и предложил дружить. Я согласился. Денис дал мне свой адрес и номер телефона.

Паша удивился:

– Как так, неужели ты завёл друзей?

– Да! – радостно ответил младший брат.

На другой день Игорь познакомил брата с Денисом. Он оказался дружелюбным и весёлым.

На уроке Паша опять увидел вчерашнего мальчика. После уроков набрался смелости и сказал:

– Привет, а давай дружить.

Мальчик улыбнулся и ответил:

– Давай! Меня зовут Максим, а тебя?

– А я – Паша!

Мальчики обменялись номерами телефонов, адресами. В выходной с утра стояла прекрасная осенняя погода, после завтрака братья решили навестить друзей. Собрались и пошли по адресам, Рыжик увязался за ними. Дома друзей оказались недалеко друг от друга, а вот от дома братьев – далеко, на другом конце улицы, но мальчишек это не расстроило. Встретившись, все четверо и Рыжик отправились на детскую площадку. Максим предложил сыграть в «Секрет».

– А как в неё играть? – спросил Игорёк.

– Очень просто: мы берём большую коробку и складываем в неё по какой-нибудь своей вещи. Потом по очереди, не глядя, достаём вещь и угадываем, чья она. Если не угадал, то выбываешь.

Игра оказалась интересной. Мальчикам было весело. Они не заметили, как пролетело время и наступила пора идти домой.

Глава IV. Зима

В конце осенних каникул братья проснулись, и невольно их взгляды устремились в окно. Там было всё белым-бело. Выпал первый снег, такой чистый, пушистый и манящий. Мальчики быстро позавтракали, собрались и пошли на улицу. Там они решили покататься на санках и лыжах со своими друзьями, но снега было маловато, да и липкий он был. Мальчики поиграли в снежки, а потом решили слепить снеговика.

Игорь и Максим катали ком для головы, а Паша с Денисом ком побольше – для туловища. Вместе водрузили голову на туловище, от метлы отломали пару прутьев и приделали снеговiku руки, на голову надели синее ведро, вместо глаз приклеили камешки, а морковку для носа принёс Денис. Такой классный снеговик получился.

Пришла пора расходиться по домам, и снова посыпался снег, да такой густой, что впереди не было ничего видно. Снег шёл всю ночь. Наутро братья кое-как открыли дверь – её завалило снегом, но каково было удивление мальчиков, когда они вышли на крыльцо. За ночь навалило столько снега, что добраться до калитки и выйти на улицу было просто невозможно. Откапывать дорожку было нечем: лопаты закрыты в чулане, ключ от чулана у папы, а папа на работе. Братья позвонили друзьям, они взяли лопаты и прибежали на помощь. Сначала откопали калитку, а потом и тропинку до крыльца. Паша и Игорь наконец-то смогли выйти на улицу. Мальчики играли в снежки, барахтались в сугробах, рыли пещеры, а когда стемнело, братья пошли провожать друзей домой. Теперь уже калитка Максима была завалена, но у них были с собой лопаты, и преграда быстро была устранена. Вот уж права русская пословица: «Друзья познаются в беде».

Перед новогодними каникулами в школе объявили, что 1 и 4 классы едут на каток. Братья обрадовались, что снова увидят город. А на настоящем катке они ни разу и не были. Коньки им выдали на раздаче, и мальчики, держась то друг за друга, то за бортики катка, стали потихоньку кататься: сначала робко, потом всё смелее, не боясь упасть, они делали круг за кругом.

В центре стояли столбы, они немного мешали, и Денис сказал:

– Зачем их тут поставили?

Но ответ пришёл вечером. Когда стало темнеть, то эти столбы загорелись сотнями разноцветных огоньков, как волшебный фонтан. Это зрелище завораживало посетителей катка. Они не могли оторвать от него глаз.

Домой вернулись поздно, братья наперебой делились впечатлениями с родителями, а потом, уставшие и довольные, ушли спать.

Николай Бренников

ПРО ЧТО

К измышлениям Флоренского об именах

Что наша жизнь? Вот имя – лотерея!
Я б гонорары многие снискал,
когда б меня назвали Гонореем,
как Бальзака!

Девкалион

Безумен был Прометей, нет в том сомненья:
сына назвал своего – *Девка ли он!*

Яго и Фортинбрас

трагедия в трёх актах с прологом

С возможным тактом и талантом
вопрос квартирный был решён.

Акт I

Мы переехали, ещё
с собою взяли квартиранта.
Мы жили дружною семьёй –
я сам, жена моя и Яго.

Акт II

Вогнал он, честный бедолага,
Меня в тюрьму, во гроб её.

Акт III

Но, верно, счастье не от миру
сего, поскольку в нужный час
явился зять мой Фортинбрас
и занял злочную квартиру.

Казённый дом

Товарищи тут ещё те –
в орнаменте
вор на менте.

Про что

Бью поклон в поклон,
не совсем совру:
по усам текло
на чужом пиру.
Там бул щирый дыр,
обооко щур,
очепят ряды,
разоглазый чур.
Чтоб не выпил что,
наблюдал вослед
козлопамятный
мудромордый дед.

Отыскал то *что*
в старой таре я
под шестым листом
инвентария,
но приговорят,
и не отменю:
что – в почётный ряд,
а меня в меню.

Про чорта

Скажите честно, отчего
у чорта спёрли букву «о».
Он был когда-то оборотист,
самодостаточен, породист
и представителен. Его
боялись все до одного.
Но в чорта, как в ничто ничьё,
вписали нагло букву «ё»,
такую беглую, что это
совсем свело его со света
того и здешнего. Ему
гораздо лучше одному,
коль в школе учат и в семье,
что чёрта пишут через «е»,
без лишних точек. Чёрту плохо,
зачёркнута его эпоха,
и в неизбывной маете
черт хмуро бродит по черте.

Галдящим, что красота спасёт мир

...мир спасёт красота!.. Какая красота спасёт мир?
Достоевский. Идиот

Мир спасёт красота Христова.
Достоевский. Бесы (черновик)

Болваны! красота чиста,
она дух Бога и народа.
То, что вы мните, – суета,
а то, что мнёте вы, – природа.

* * *

Глаз у меня чёрный,
хлеб у меня чёрствый,
нрав у меня вздорный,
нож у меня острый.
Жил бы себе в пуще,
спал бы себе в чаще –
полюбили б пуще,
вспоминали б чаще.

Владимир Демьянович

ВАСИЛИНЕНКО

Родился в 1942 году в Иркутске. Окончил высшие курсы режиссёров и сценаристов при Госкино СССР в Москве, работал режиссёром на Дальневосточной студии кинохроники, Восточно-Сибирской и Западно-Сибирской киностудиях.

Изданы повести «Изящная», «Любить полосатого зверя», «Клетка», «Украсть невесту», а также три романа. Автор пьес «Сбежавший наследник», «Две Екатерины», «Заложники любви» и сборника стихов «Высокий день».

Печатался в журналах «Дальний Восток», «Начало века».

Член Союза кинематографистов и Союза писателей России.

Живёт в Хабаровске.

Николай Алексеевич

ИГНАТЕНКО

Родился в 1946 году в Прокопьевске Кемеровской области. Окончил Томский государственный университет, механико-математический факультет. Кандидат наук, преподавал двадцать лет в родном университете. В 1996 году принят в Союз писателей России. Поэтические книги – «Три возраста любви», «Роща» и многие другие. Печатается в литературных журналах России.

Александр Петрович

КАЗАРКИН

Родился 27 ноября 1941 года в деревне Дресвянка Новосибирской области. Окончил историко-филологический факультет Томского государственного университета, доктор филологических наук, профессор. Член редколлегии журнала «Начало века».

Автор многих литературно-критических книг. Лауреат Всероссийской литературной премии имени Н. А. Клюева.

Член Союза писателей России.

Живёт в Томске.

Елена Николаевна

КИРИЛЛОВА

Родилась в Хабаровске. Окончила физический и психологический факультеты Томского государственного университета, Губернаторский колледж социально-культурных

технологий (педагог дополнительного образования в области хореографии). Член Союза журналистов России. Член Союза российских писателей, председатель Томского представительства этого Союза. Кандидат физико-математических наук. Автор пяти поэтических сборников. Публикации в различных российских журналах и альманахах.

Живёт и работает в Томске.

Анна Альбертовна

КОРСУНОВА

Родилась в 1997 году в Томске. С 11 лет занималась в литературной студии «Юг» Дома детского творчества «У Белого озера», не раз была дипломантом и лауреатом различных детских и молодёжных творческих конкурсов. Её сказки и рассказы публиковались в журналах Томска, Северска, Екатеринбурга («Начало века», «Ключевое слово», «Тихая минутка»). В 2021-м году закончила обучение на филологическом факультете ТГУ по специальности «литературное творчество».

Живёт в Томске.

Владимир Николаевич

КРУПИН

Родился 7 сентября 1941 года в посёлке Кильмезь Кировской области. Сын лесничего. Окончил филологический факультет Московского областного педагогического института. Работал учителем русского языка в школе, редактором в издательстве «Современник». Преподавал в Литературном институте. С 1994 года преподаёт в Московской духовной академии, с 1998 года – главный редактор христианского журнала «Благодатный огонь».

Первая книга «Зёрна» вышла в 1974 году, но широкое внимание привлёк к себе повестью «Живая вода». Автор многих повестей и рассказов, романа «Спасение погибших», «Православной азбуки», «Детского церковного календаря», книги «Русские святые» и других.

Первый лауреат Патриаршей литературной премии имени Кирилла и Мефодия (2011). Кавалер орденов Дружбы народов и Ф. Достоевского первой степени.

Сопредседатель правления Союза писателей России. Живёт в Москве.

**Владимир Михайлович
КРЮКОВ**

Родился в 1949 году в селе Пудино на севере Томской области. Окончил историко-филологический факультет Томского университета.

Автор нескольких стихотворных сборников.

Сборник рассказов «Мальчик и другие истории» (2013). Книга воспоминаний «Заметки о нашем времени» (часть первая – 2014, часть вторая – 2018).

Член Союза российских писателей.

Живёт в селе Тимирязевском под Томском.

**Николай Валентинович
СЕРЕБРЕННИКОВ
(Николай Бренников)**

Родился в 1954 году в Томске. Окончил исторический факультет Томского государственного университета, преподавал в университетах Новгорода и Томска.

Автор сборника стихов «К морю от медведя» (1992) и исследования «Опыт формирования областнической литературы» (2004), составитель ряда книг архивных публикаций о деятелях русской культуры XIX–XX вв.

Живёт в Томске.

**Александр Сергеевич
ТАРАЗАНОВ**

Родился в 1954 году в Томске. Служил в рядах СА (стройбат). Окончил Томский коммунально-строительный техникум и был рабочим, электриком, кочегаром и т. д. Выпустил в 2001 году со своей женой Ириной Киселёвой совместный сборник стихов «Прикосновение».

Прозу публиковал в интернет-журнале «Наша улица». Неоднократно печатался в журнале «Начало века».

Живёт в Томске.

**Юрий Васильевич
ЧУФАРОВ**

Родился 1 апреля 1944 года на станции Бочаты Кемеровской области. В 1966 году

окончил факультет физической культуры Томского государственного педагогического института. С 1981 по 1996 жил в Петропавловске (Казахстан). Стихи начал писать в 1989 году. В 1992 году в Петропавловске вышел сборник лирических стихов.

**Татьяна Владимировна
ЮРГЕНСОН**

Родилась в Манском районе Красноярского края, окончила факультет журналистики Томского государственного университета. Работала в районной газете села Кожевниково и Мегионской городской газете, была пресс-секретарем главы города. Автор 25 книг поэзии, фотохудожник. Сейчас на пенсии.

С 1993 года живёт в городе Мегион.

**Виктор Данилович
ЮШКОВСКИЙ**

Родился в 1962 году в Казахстане. Выпускник Томского государственного университета.

Работал в городской газете Стрежевого, в «Молодом ленинце» («Томский молодёжный экспресс») и отраслевых изданиях.

Выступал с очерками и эссе на краеведческие темы в журналах и альманахах («Сибирская старина», «Корни», «Томск magazine», «Слово о томской земле», «Каменный мост»). Был членом редакционного совета журнала «Корни» (Москва).

Автор книги очерков «Время не ждёт» (Томск, 2002), историко-документальных книг «Жернова» (Красноярск, 2001), «Эскиз сюжета» (Томск, 2003), «Соломон и другие» (Красноярск, 2003), «Батеньков в Томске» (Томск, 2007), «Декабрист Гавриил Батеньков. Взгляды. Личность. Судьба» (г. Саарбрюккен, Германия, 2011). Редактор-составитель второго тома собрания сочинений и писем Г. С. Батенькова (Иркутск, «Полярная звезда»).

Кандидат исторических наук.

С 2013 года живёт и работает в Санкт-Петербурге.

НАЧАЛО ВЕКА

Литературный и краеведческий журнал

Издание томских писателей

Главные редакторы

Г. Скарлыгин

О. Чайковская

Технический редактор

О. Карташов

Корректор

И. Киселёва

Редакция журнала принимает к рассмотрению авторские работы в электронном виде, набранные на компьютере на страницах формата А4, размер шрифта 12–14 кегль, гарнитура Times New Roman или Cambria.

Расширение файла doc, docx или rtf. Материалы, представленные в других форматах (txt, pdf, tif, jpg и т. д.), редакция не рассматривает.

Редакция знакомится с письмами читателей,
не вступая в переписку.

Адрес редакции: г. Томск, ул. Шишкова, 10.

E-mail: ya.oxana69@yandex.ru

© Составление и оформление: «Начало века», 2021 г.

Формат 70x108 ¹/₁₆. Усл. печ. л. 18,2. Тираж 100 экз.

Дата выхода журнала 2.12.2021 г. Цена свободная.

Отпечатано в ООО «Томская полиграфическая компания»,
г. Томск, ул. Пушкина, 40/1